





Purchased for the
LIBRARY of the
UNIVERSITY OF TORONTO
from the
KATHLEEN MADILL BEQUEST





BOCROMNHAHIA

И

ОТРЫВКИ.

RUSSIAN REPRINT SERIES

edited by

ALEXANDRE V. SOLOVIEV
Professeur Honoraire
de l'Université de Genève

with the assistance of

ALAN KIMBALL Instructor in History Stanford University Stanford, Cal., U.S.A.

XLIV



EUROPE PRINTING THE HAGUE 1967

Н. Страховъ.

ВОСПОМИНАНІЯ И ОТРЫВКИ.

Авонъ. — Италія. — Крымъ. — Л. Н. Толстой. — Справедливость, милосердіе и святость. — Послёдній изъ идеалистовъ. — Стихотворенія.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Типографія бр. Пантелеевыхъ. Верейская, 10. 1892.

Того же автора.

Мірь како цилов. Изд. второв, испр. и дополи. Спб. 1892. Замптки о Пушкини и других поэтахь. Спб. 1888.

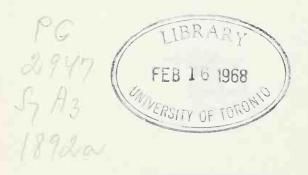
Замытки о Пушкины и оругих поэтах. Спо. 1888.
О вычных истинах (мой спорь о синринямых). Спб. 1887.
Объ основных понятіях психологіи и физіологіи. Спб. 1886.
Критическія статьи объ Н. С. Тургеневы и Л. Н Толстомъ. (1862—
1865). Ивданіе второе. Спб. 1887.
Борьба съ Западомъ съ нашей литературп. Книжка персая.
Изданіе второе. (Герцень.—Милаь.—Парижская Коммуна.—Ренанъ.—Историки безъ принцвповъ.—Штраусъ.—Поминен по И. С. Аксаковъ). Спб.

Борьба съ Западомъ въ нашей литературь. Книжка вторая. Изданіе второе. (Ходъ нашей литературы, начиная отъ Ломоносова. - Роковой вопросъ. - Наша вультура и всемірное единство. - Дарвинъ. - Полное опроверженіе дарвинизма). Спб. 1890.

Ивъ исторіи литературнаго нигилизма (1861-1865). Спб. 1890. Видность нашей литературы. Кригическій и историческій очеркь.

Спб. 1867.

О методн естественных каукь и значеніи ихь въ общемь образо-ванін. Спб. 1865.



Printed in the Netherlands

Составъ этой книжки, довольно разнообразный, имфеть, однако, некоторую внутреннюю связь: сюда вошли статьи, касающіяся вопросовъ нравственности и эстетики, и въ концъ книжкинебольшія попытки художественнаго писанія. Къ этимъ попыткамъ, большею частію уже давнихъ льть, надъюсь, читатели будуть снисходительны и не стануть подозрѣвать во мнѣ большихъ притязаній. Въ душт поэтовъ творчество горить яркимъ пламенемъ, но искра такого пламени часто теплится и въ другихъ людяхъ. Настоящимъ поводомъ къ изданію этой книжки было желаніе представить вновь читателямъ двъ-три статьи, уже напечатанныя, но, въ моихъ глазахъ, более другихъ заслуживающія перепечатки. Журналистика похожа на широкую и шумно текущую ръку, образуемую множествомъ притоковъ; но теченіе ея чрезвычайно короткое: она быстро впадаеть въ Лету и ежедневно уносить туда не только то, что прямо для этого поглощенія и пишется, но вмёстё и то, что пишется съ надеждою на болбе долгое существованіе.

18-го окт.

H. C.

230 01-81

-4

Оглавленіе.

Cr	гран.											
І. Воспоминаніе о потадкт на Авонт (1881 г.). ІІ. Изъ потадки въ Италію (въ 1875 г.) ІІІ. Два письма изъ Рима (къ А. Н. Майкову)	1 49											
Письмо первое												
IV. Крымскія впечатлівнія (1869 г.) І	105 121 121											
VI. Толки объ Л. Н. Толстомъ (1891)	131											
I. Единый духъ во всей двятельности II. Христіанское, религіозное явленіе III. Раціонализъ и отреченіе отъ него IV. V. VI. VII.	133 139 146 I51 155 159 164 169											
IX	173 179											
VII. Отвътъ на письмо неизвъстнаго (1891)	185											
VIII. Справедливость, милосердіе и святость (1892) І. Три ступени	199 200 203 206 211											
 Теорія благополучія. По поводу трехт романовт М. В. Авдпева (1869). Х. Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ (1889) 	21 7 245											
XI. Последній изъ идеалистовъ. Отрывовъ изъ ненаписанной повести. (1866)	257											

, T T	Q																	C	гран.
ш.	Стихотво																		
	Комета.	(IIo	CJ	ıy	48	Ю	K	M	eT:	ы	До	на	TE	()					297
	Грезы .																		.299
	«Несчаст	ны	МЬ	Į>													١.		300
	Юность.																		301
	Заботы																		302
	Жизнь																		303
	Міръ .																		304
	«Не върг																		305
	E. E																		306
	E. E																	•	306
	Воробьен		R .		•	- 1	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	307
	Эстетику																		307
	Поэту																		308
	E. E																		308
	Ночь																		308
	Жалоба .										•		٠	•	•	•		•	310
	Изъ «Ид	eal	0B1	6 >	1	Ц	ш	ep	a	٠				•	•				311
	Воспоми	нані	е								٠								312
	Извинені	e.																	312
	Дума .																		313

ВОСПОМИНАНІЕ о поъздкъ на Аеонъ (1881 г.)

I.

Почтенный Тимковскій начинаетъ описаніе своего путешествія такими словами: "судьба украсила мою жизнь событіемъ редкимъ, незабвеннымъ: я видёль Китай" *). Такъ и я могъ бы сказать. И въ моей жизни было рѣдкое и прекрасное событіе: я видёль Авонь. Впечатлёнія, которыя оставила во мнѣ Святая Гора, составляють съ тъхъ поръ (т. е. съ 1881 года) великую мою драгоденность, и они живо возникли во мне, когда появилось извъстіе о смерти игумена отца Макарія (19 іюня 1889) и стали печататься восноминанія объ немъ и очерки его жизни. Мнъ досталось счастіе вид'єть о. Макарія и разговаривать нимъ; изъ всъхъ, кого я видълъ на Авонъ, онъ быль для меня самымь чистымь и несравненнымь

^{*)} Путешествіе въ Китай черезъ Монголію. Спб. 1824.

по красот воплощением того духа, которым живеть вся Авонская гора.

Мнѣ хочется теперь остановиться хоть немножко на этихъ воспоминаніяхъ. Особенно хотѣлось бы мнѣ, изъ того, что сохранилось въ моей памяти, уловить кой-какія черты, которыхъ я почти вовсе не нахожу въ чужихъ разсказахъ. Послѣ того, какъ я съѣздилъ на Анонъ, для меня получила большую занимательность всякая книга или статья, гдѣ объ немъ говорится; нигдѣ, однако же, не привелось мнѣ найти повторенія иныхъ впечатлѣній, которыя я испыталъ и которыя очень хотѣлъ бы встрѣтить въ полномъ и ясномъ выражепіи.

Но, прежде всего, чувствую, что мнѣ слѣдуетъ представить своимъ читателямъ нѣкоторыя объясненія и почти оправданія. Какъ случилось, что я попалъ на Афонъ? Что привело меня туда? И тогда, и потомъ, часто мнѣ приходилось слышать подобные вопросы. Еще на пути къ Святой Горѣ не разъ я замѣчалъ, что моя поѣздка возбуждаетъ удивленіе, особенно если случалось говорить съ незнакомыми людьми. И на желѣзной дорогѣ, и въ Севастопольской гостинницѣ, и на пароходѣ, и въ Константинополѣ, даже въ нашемъ копсульствѣ и посольствѣ, мои собесѣдники иногда очень замѣтно выражали мнѣ свое недоумѣніе. Когда

бывало случалось мнь объявлять свой чинъ статскаго совътника, то это всегда производило благопріятное впечатлівніе; когда потомъ оказывалось, что я служу библіотекаремь, то это значительно охлаждало вниманіе, возбужденное мо имъ чиномъ; но когда я говорилъ, что хочу провхать на Авонъ, то я видёлъ, что вдругъ совершенно ронялъ себя въ мнѣніи моихъ собесъдниковъ. Живой разговоръ, подстрекаемый тою скукою, которую большинство людей чувствуетъ въ дорогъ, вдругъ затихалъ; иные чуть не готовы были отъ меня отвернуться. Очевидно, въ ихъ глазахъ я попадаль вь разрядъ людей, которымъ не могуть быть доступны высшіе интересы просвѣщенія и которые сами питаютъ какіе-то дикіе интересы. Случалось мнѣ замѣчать потомъ, съ какимъ высокомъріемъ и нескрываемымъ недобро желательствомъ иные изъ этихъ просвъщенныхъ людей смотръли вообще на монаховъ: безъ сомнъ нія, они видёли въ нихъ какой-то вредный элементъ человъческаго общества.

И такъ, нѣкоторыя объясненія съ моей стороны, мит кажется, необходимы, хотя, конечно, не для всёхъ читателей. Вражды и слёпаго взаимнаго непониманія еще много и въ нашъ прогрессивный въкъ, можеть быть даже больше, чъмъ въ другіе вѣка. 1*

II.

Куда ёхать? Зачёмъ ёхать? Если эти вопросы разумьть въ серіозномъ смысль, на нихъ вовсе не легко отвъчать. Спасать свою душу одинаково надобно и возможно на всякомъ м'есте, и отъ души своей никуда спастись невозможно. Да и вообще, не вездъ ли вокругъ насъ люди, а передъ нами земля и небо, всѣ стихіи природы и жизни человической? И счастливь, конечно, тоть, кто прямо живеть этими окружающими стихіями, кого не тянеть въ даль, кто почерпаеть свою душевную пищу изъ близкой и родной почвы. Для такихъ людей путешествіе не можетъ имъть глубокаго интереса; оно всегда для нихъ будетъ только забавою, только "охотою". Такъ гуляютъ по всему свъту англичане, нося въ груди свою Англію и смотря на весь остальной міръ съ равнодушіемъ и презрѣніемъ. Правда, они очень трудно и очень мало понимаютъ чужую жизнь: но это вёдь не мъщаетъ ихъ душевному здоровью.

Другое дёло, какъ извёстно, мы, русскіе. Мы большіе охотники расширять свой кругозоръ: мы легко вникаемъ въ чужую жизнь, легко отдаемся чужимъ понятіямъ, и нельзя не сознаться, что, большею частію, мы этимъ портимъ свою душевную дёятельность. Если бы мы были посеріоз-

нье, то насъ должно бы ужасать то отсутствіе крѣпкихъ связей со всякою жизнью, и съ своею, и съ чужою, которое у насъ такъ часто встрвчается. Все мы понимаемъ, всёмъ умёемъ интересоваться, и ничемъ серіозно не заняты, и ни къ чему не питаемъ глубокаго, кровнаго участія, кромъ развъ своихъ мелкихъ личныхъ выгодъ и прихотей. Вследствіе долгаго умственнаго блужданія по разнымъ эпохамъ исторіи и народамъ земнаго шара, русскій образованный человѣкъ часто по душевному складу бываетъ похожъ на отжившаго старика, невольно пришедшаго наконецъ къ той степени отвлеченнаго пониманія, на которой всѣ вещи равны и нѣтъ уже ничего ни новаго, ни великаго, а все сливается въ однообразномъ потокъ въчности.

Какъ бы то ни было, но я чувствую, мнѣ слѣдуетъ, вообще, не столько похвалиться, сколько повиниться передъ читателемъ, объясняя ему что одною изъ причинъ моей поѣздки въ Царьградъ и на Авонъ была прямо похоть очей. У меня было два свободныхъ мѣсяца, и мнѣ захотѣлось увидѣть что нибудь новое, посмотрѣть собственными глазами на какое нибудь большое зрѣлище, не похожее ни на что прежде видѣнное, и прикоснуться душою къ какой нибудь людской жизни, идущей не по тѣмъ началамъ, по которымъ

мы сами живемъ. Европа меня нетянула, хотя въ прежнія поездки въ Париже мне пришлось провести и десяти дней, а въ Лондонъ и вовсе не удалось побывать. Европу въдь можно видъть тутъ, въ Петербургъ; ел жизнь, ел нравы и вкусы широкою волною наплывають къ намъ черезъ это "прорубленное окно" и осъдають здъсь въ самыхъ точныхъ своихъ формахъ. Мы даже и говоримъ по французски, хотя утонченные западники, какъ напримъръ, Тургеневъ, и замъчаютъ, что петербургскій французскій языкъ будто бы противень въ сравнени съ прелестию настоящаго французскаго языка. Но не всякому доступна такая проницательность; для грубаго взгляда нашъ Петербургъ—совершенно европейскій городъ. Не только улицы, дома и магазины устроены по европейски: но и книги, картины, кокотки, принципы, вкусы и пріемы-все цѣликомъ приходитъ намъ съ Запада и господствуетъ безпрекословно въ нашей жизни. Конечно, не смотря на то, Петребургъ все таки оказывается только параднымъ городомъ, какъбываютъ въ домахъ парадныя комнаты для пріема гостей. Подъ блестящей обстановкой и въ сторонъ отъ центровъ, опытные глаза и въ немъ легко различаютъ неряшество, грязь, безнорядокъ, все милое спустя рукава русской жизни; среди звуковъ стройнаго столичнаго шума и говора, опытныя уши могуть уловить и звуки чисто звѣриные, и нерѣдко грубость истинно татарскую. Не
говорю о томъ великомъ духѣ, который многіе
приписывають только Москвѣ и деревнѣ, и который живетъ, однако, и въ Петербургѣ, хотя
еще болѣе безмолвный и невидный, чѣмъ въ
другихъ мѣстахъ. Но все же, европейскій элементъ, въ самыхъ существенныхъ, крупныхъ
своихъ чертахъ, здѣсь такъ силенъ, что едва
ли нужно еще ѣхать въ Лондонъ, чтобы ближе
узнать начала, на которыхъ зиѣдется жизнь
просвѣщенныхъ народовъ. Такъ вѣдь, кажется
мы и дѣлаемъ. мы много ѣздимъ въ Европу, но
больше для того, чтобы тамъ жить и гулять, а
не для того, чтобы учиться.

Но гдѣ же искать другой жизни? Европейскіе нравы и обычаи уже распространились по всему земному шару; вездѣ власть и движеніе, ростъ и сила принадлежитъ Европѣ, а всякая другая жизнь лишена развитія и будущности. Сотни мидліоновъ людей, еще не уподобившихся европейцамъ, составляють лишь служебное, рабочее, по датное населеніе, которое уже не можетъ мечтать ни о самостоятельности политической, ни о своеобразной культурѣ, ни о малѣйшемъ участіи въ ходѣ исторіи человѣческой. Поприще этой исторіи окончательно остается за Европой и, повидимому, никому не будетъ уступлено.

Итакъ, отъ Европы трудно уйти. Какая охота ѣхать въ Египетъ? Пришлось бы идти вверхъ по Нилу на какомъ нибудь французскомъ пароходѣ, потомъ остановиться въ Каирѣ въ "Европейской гостиницѣ", а вечеромъ идти въ театръ слушать италіанскую оперу. Жить на другой точкѣ земнаго шара, но въ нашей обыкновенной обстановкѣ, видѣть кругомъ только дребезги былой жизни, не встрѣчать вокругъ себя никакихъ формъ и движеній, въ которыхъ проявляется сила и творчество самобытнаго народа, самобытной исторіи, тутъ нѣтъ ничего особенно интереснаго.

Но не то ли же самое и вездѣ, что въ Египтѣ? Вездѣ остались только обломки и дребезги былой жизни, вездѣ туземное населеніе на заднемъ планѣ, лишенное средоточія и самобытнаго движенія, а на первомъ планѣ живетъ и движется та Европа, которой отличные образчики можно найти и здѣсь, въ Петербургѣ. Одна только страна, какъ разсказываютъ, сохранила еще свою древнюю жизнь и еще можетъ имѣть надежды на ея развитіе въ будущемъ. Это—Индія, колыбель самой распространенной религіи, самой отвлеченной философіи и математики. Не такъ давно одинъ изъ нашихъ сенаторовъ съѣздилъ отсюда въ Индію—такъ, для прогулки, въ свободное отъ занятій время. Нельзя не похвалить его за моло-

дечество и не позавидовать ему Но это, конечно, довольно дальняя и дорогая прогулка, и къ ней нужно порядочно подготовиться чтобы она имъла надлежащій интересъ. Между тімь, у насъ близко, подъ бокомъ есть страны, которыя, очевидно, имъють тоже высокую занимательность. Самая страшная Азія, последняя могучая форма восточной жизни, еще царить въ Константинополь; благодаря усиліямь Европы, на самомь европейскомъ материкъ еще сохраняется грозное нъкогда владычество турокъ. Если бы мнъ, думалъ я, и неудалось многое уразумьть въ этой чужой жизни, то одно навърное удастся, увижу это несравненное мъсто, полюбуюсь на видъ, равнаго которому не находять на всемь земномъ шаръ. А кромѣ того, побываю и въ Святой Софіи, то есть въ храмъ, который, по мнънію многихъ, тоже не имфеть себф равнаго по красотф.

Но оттуда уже не далеко до другаго мѣста, какъ мнѣ думалось, еще болѣе любопытнаго, уступающаго своимъ интересомъ развѣ только одной Индіи. Это—Святая Гора, небольшой полуостровъ Эгейскаго моря, населенный монахами. Тамъ сохранилась до нашихъ дней и продолжаетъ неприкосновенно процвѣтать особая жизнь, начавшаяся съ первыхъ вѣковъ христіанства и, уже почти тысячу лѣтъ назадъ, вполнѣ сложнвшаяся

въ свои формы. Эти монахи показали, какъ бы въ видъ огромнаго историческаго примъра, истинное свойства монашества, то есть, что они дъйствительно отрекшіеся отъ міра богомольцы, чужлые всякихъ земныхъ дёлъ. Такъ ихъ и поняли свиръпые турки и оставили ихъ въ покоъ, такъ что люди, отказавшіеся отъ всёхъ земныхъ благъ, сохранили въ теченіе мпогихъ бѣдственныхъ вѣковъ лучшее благо-независимость и самобытный складъ жизни. Но цёль ихъ была разъ навсегда назначена, и средства для нея отъ начала были определены; поэтому, имъ не нужно было никакихъ перемѣнъ, и у нихъ не было прогресса, не было исторіи. По свид'ятельству ученыхъ изсл'ядователей, Авонъ есть д'виствительно живой остатокъ глубокой старины, и, въ этомъ отношении, мъсто единственное въ своемъ родъ, подобнаго которому нътъ ни въ одной странъ обитаемаго міра.

Вспомнимъ при этомъ, какой духъ тамъ живетъ, — духъ нашего православнаго благочестія Тамъ — одно изъ чистѣйшихъ воплощеній того животворнаго начала, которое составляетъ истинную душу русскаго народа. Авонъ есть поприще и училище святости, а святой человѣкъ есть высшій идеалъ русскихъ людей, начиная отъ неграмотнаго крестьянина и до Льва Толстаго.

Вотъ, читатель, маленькое объяснение, почему мнъ гръшному захотълось побывать на Авонъ.

III.

Въ 1881 году 16-е августа приходилось въ воскресенье, и утромъ въ 9 часовъ я сѣлъ на пароходъ, который по воскресеньямъ отходитъ изъ Севастополя и идетъ прямо въ Константинополь. На пароходѣ было пусто; кромѣ двухъ русскихъ, мужа и жены, былъ еще одинъ англичанинъ; но гдѣ же на морѣ англичанъ не бываетъ? Невольно я почувствовалъ нѣкоторую странность своего поступка; какъ это я ѣду туда, куда никто не ѣдетъ?

Константинополь вообще такъ далекъ отъ нашихъ мыслей, что онъ и въ пространствѣ кажется намъ дальше Парижа, Лондона, Рима. Между тѣмъ онъ дѣйствительно у насъ подъ бокомъ. Изъ Севастоноля или изъ Одессы проѣхать въ Константинополь легче и дешевле, чѣмъ изъ Петербурга въ Москву. На другой день въ полдень мы уже входили въ Босфоръ и, конечно, всѣ бросились на палубу. Къ несчастію, день былъ облачный, и удивительный видъ много терялъ. Но, кромѣ того, присматриваясь къ пышнымъ зданіямъ, которыя одно за другимъ такъ живописно рисуются на зеленомъ фонѣ высокаго берега, я сталъ чувствовать въ этой пышности какой-то недостатокъ. Въ размѣрахъ этажей, въ простѣнкахъ, которые втрое уже оконъ, во всемъ обнаруживалась странная легкость. "Да это карточные домики!" сказалъ я англичанину. Потомъ я убѣдился, что такъ построенъ и весь Константинополь. Тонкія стѣны выводятся изъ деревянныхъ брусьевъ, пересѣкающихся на крестъ; промежутки закладываются легкими кирпичами. Архитектурное впечатлѣніе, которое производитъ большая масса такихъ домовъ, въ сущности очень жалкое.

Когда мы вошли въ Золотой Рогъ, насъ ожидало другое разочарованіе. Въ Константинополѣ нѣтъ набережныхъ и пристаней; пароходы, какъ въ необитаемой странѣ, бросаютъ якорь среди залива, и только въ лодкѣ можно добраться до берега. Но встрѣча намъ была радушная. Сейчасъ же на пароходъ явился проводникъ, Марко Митровичъ, очень хорошо говорящій по русски, и явились монахи съ аеонскаго подворья съ ласковымъ предложеніемъ пріютить странниковъ. Но какъ ни тянуло меня къ себѣ подворье, еще больше мнѣ хотѣлось сейчасъ же очутиться не среди русскихъ, а среди туземнаго населенія того удивительнаго города, котораго громадная панорама со всѣхъ сторонъ окружала насъ. Мнѣ было

непонятно хладнокровіе капитана, который твердиль, что торопиться некуда и уговариваль чету супруговь остаться об'ёдать на пароход'ё. И они согласились! Я же тотчась захватиль съ собою Марка и съ величайшимъ нетерп'ёніемъ и волнененіемъ пустился на берегъ.

Минута, когда я вышелъ на дрянную лодочную пристань въ Галатв, осталась въ моей памяти. Показалось солнце, сдёлалось ярко и тепло. Что же это такое? Во всё глаза глядёль я на людей, которые тутъ суетились. Это были носильщики, простые турки и всякіе азіаты, работавшіе надъ ящиками и мъшками товаровъ. Ихъ смуглыя лица, по восточному неподвижныя, какъ будто вылитыя изъ мъди, съ ръзкими и странными, никогда невиданными мною чертами, ихъ открытыя груди и голыя икры, ихъ яркія одежды — все поразило меня, какъ будто я попалъ на другую планету. Но мое удовольствіе не долго продолжалось. Марко, оставившій меня на улиць за чашкой кофе, скоро вернулся съ коляской; мы повхали, и я съ каждымъ шагомъ все яснъе видълъ то, о чемъ слъдовало бы раньше догадаться: кругомъ меня не было ровно ничего турецкаго и никакихъ турокъ; мы были въ Перть, которую можно назвать особымъ городомъ, совершенно европейскимъ, хотя бы и худшимъ изъ всёхъ городовъ на свётё. Это

не часть Стамбула и не предмѣстье его, какъ обыкновенно говорятъ; ибо у нихъ нѣтъ ничего общаго. Они раздѣлены вполнѣ, физически—Золотымъ Рогомъ, а нравственно—происхожденіемъ, языкомъ, религіею, образомъ жизни,—словомъ всякими возможными раздѣленіями. Опять, значитъ, я попалъ въ европейскую среду. Хотя въ Константинополѣ европейская жизнь не на первомъ, а на второмъ планѣ, но оказалось, что мвѣ нельзя иначе и жить, какъ на этомъ второмъ планѣ. Стамбулъ недоступенъ для иностранцевъ; тамъ нѣтъ гостинницъ, и поселиться среди турокъ невозможно.

Но миѣ приходится теперь отложить всякіе разсказы о впечатлѣніяхъ Стамбула, о святой Софіи и мечетяхъ, о базарахъ и кофейняхъ, о всяческихъ моихъ усиліяхъ вникнуть въ жизнь турокъ и уловить физіономію удивительнаго города и времяпровожденія его жителей. Никакія описанія не могуть замѣнить того, что поймешь, когда видишь предметъ собственными глазами, и если я прежде зналъ, что Турція—умирающій организмъ, то не могъ, однако, и представить себѣ, какъ на всемъ и всюду здѣсь лежитъ страшная печать мертвенности. Но обращаюсь прямо къ поѣздкѣ па Авонъ. На авонскомъ подворьѣ мнѣ сказали, что пароходъ отойдетъ 28 августа, и уже

наканунѣ я перебрался изъ гостиницы на подворье. Не могу не вспомнить съ благодарностью объ этомъ гостепріимствѣ. Авонскіе отцы знамениты своею любезностію и радушіемъ, и самое пріятное то, что вы скоро чувствуете, до какой степени они въ этомъ естественны. Вѣжливость монаха имѣетъ глубокую и твердую основу искреннее смиреніе; промахъ въ обращеніи съ людьми скорѣе сдѣлаетъ мірской человѣкъ, никогда не бывающій вполнѣ свободнымъ отъ гордости житейской.

Вообще, для русскаго повздка на Аоонъ оказывается дёломъ самымъ простымъ и легкимъ. Не нужно ни мальйшихъ хлопотъ и усилій. Въ Константинополь монахи возьмуть вась съ парохода, помъстять въ своемъ подворьъ, будуть угождать вамъ, кормить и поить, и, когда придетъ время, посадять на пароходь, отправляющійся къ Святой Горф. Поразительно то обстоятельство, что только русскій монастырь устроиль совершенно правильное и удобное сообщение съ Авономъ. Французскій пароходъ, дёлающій правильные рейсы по Мраморному и Белому морю, обязанъ по условію зайти разъ въ двѣ недѣли въ русскій монастырь св. Пантелеймона; туть онъ оставляеть тёхъ, кто сёлъ въ Константинополе, и беретъ твхъ, кто туда возвращается. Нашъ монастырь,

поэтому, сталь точкой сообщенія съ остальнымъ міромъ всей Аоонской горы; онъ разъ въ двъ недъли принимаетъ подъ свой кровъ путниковъ всякихъ другихъ монастырей, хотя изъ нихъ многіе превосходять его древностію и богатствомъ. Дѣло въ томъ, что обильный и непрерывный потокъ богомольцевъ въ настоящее время илетъ только изъ Россіи; путники, идущіе изъ другихъ странъ, становятся все ръже и ръже. Говорятъ, что греки усердно посъщали Авонъ и дълали богатыя приношенія, пока были подъ властію турокъ; но со времени освобожденія все это почти прекратилось. Греки очень редко стали поступать и въ монахи, такъ что ихъ монастыри состоятъ теперь изъ глубокихъ старцевъ и понемножку пустѣютъ. У насъ наоборотъ: число монашествующихъ растетъ съ каждымъ годомъ. Всего замѣчательнъе то, что это процевтание есть дъло очень недавнее. Когда въ половинъ сороковыхъ годовъ Фалльмерайеръ гостилъ на Авонъ, онъ, такой внимательный ко всему, касающемуся Россіи, даже не обратилъ вниманія на ничтожную кучку русскихъ монаховъ. Быстрое разростаніе "Руссика" относится только къ прошлому царствованію, то есть какъ разъ къ тому времени, когда происходило столько освободительныхъ реформъ, когда вмъсть сь тьмъ появились и разрослись у насъ

вольнодумство, нигилизмъ, покушенія. Въ это время, незримо для насъ, благочестивые люди одинъ за другимъ уходили навсегда за дальнія моря и составили тамъ нынѣшнее многолюдное и цвѣтущее общежитіе.

Можетъ быть это—простое слѣдствіе оживленія всякихъ передвиженій и сношеній, а можеть быть туть есть и молчаливый протестъ противънашего просвѣщенія.

IY.

Вечеромъ 30 августа мы обогнули мысъ, на которомъ стоитъ высокій конусъ, называемый собственно горою Авономъ, и осторожно стали подвигаться вдоль западнаго берега полуострова. Наступила тихая и темная звѣздная ночь, и я съ сокрушеніемъ смотрѣлъ на гористый берегъ, смутно темнѣвшій передъ нами. Какую бы красоту мы увидѣли, если бы это было при свѣтѣ солнца! Часу въ одиннадцатомъ вечера, наконецъ, медленно движущійся пароходъ остановился въ темнотѣ противъ русскаго монастыря. Большая неправильная груда зданій, гдѣ не свѣтилось ни одного огонька, неясно бѣлѣла на берегу. Съ парохода дали сигналъ—небольшой пушечный выстрѣлъ; все молчало и было темно по прежнему. Подо-

ждали, сдёлали другой выстрёль, и опять стали ждать. Бёда была въ томъ, что мы пришли въ то время, когда всв монахи спали — они ведь ежедневно встаютъ отъ сна въ первомъ часу ночи. Наконецъ на берегу показались люди съ огнями, и лодки стали подходить къ пароходу. Случилось такъ, что онв сперва пристали къ сходу изъ третьяго класса. Мы должны были ждать, пока будеть перевезена на пристань большая толпа богомольцевъ изъ простонародья. Хлопотъ было много, и монахи усердно работали, принимая путниковъ и ихъ вещи. Я праздно стоялъ, вглядываясь въ эту оживленную картину. И тутъ меня поразило впечатленіе, которое потомъ уже не покидало меня во все время, проведенное на Святой Горв. Послышались быстрыя, торопливыя восклидапія монаховъ: "сюда! держитесь! подвиньтесь! посв'яти, братъ Василій! отецъ Намва, еще немножко!" и т. д. Но, не смотря на всю живость и поспѣшность этихъ рѣчей, въ нихъ было что-то особенное. Он'в не только не подымались до крика, не только въ нихъ не звучало и тфии раздраженія или досады, но не было даже простой небрежности или отрыванія; торопящіеся голоса были неизм'єнно ласковы, чисты и свободны. Эти монахи, которыхъ мы вдругъ разбудили, оказались на этой пробъ истинными монахами. И тоже самое вы замътите

всегда и на всемъ Аоонъ, и въ монастыряхъ, и въ Карев, и на дорогахъ въ лвсу, и на лодкахъ у береговъ. Вездъ, въ ръчахъ и дъйствіяхъ господствуетъ совершенное безстрастіе и спокойствіе, которое при каждомъ удобномъ случав переходитъ только въ радушіе и ласку. "Благословите!" "Богъ васъ благословить!" "Будьте благословенны!"такими привътствіями обмѣниваются на Аоонъ пешеходы и всадники встрачающеся на дорога. Въ продолжение двухъ недель я не слышалъ ни единаго крика, ни единаго сердитаго слова; эта удивительная тишина, прямое отражение и выраженіе душевнаго мира, поразила меня въ первый день, а потомъ илъняла все больше и больше. Такъ живетъ весь полуостровъ, все его десятитысячное населеніе.

На другой день по прівздв меня пригласили къ игумену, и я увидѣлъ о. Макарія. Но прежде чѣмъ говорить о немъ, мнѣ хочется сказать нѣсколько словъ о мпсть дъйствія, обо всей Авонской горѣ, объ ея внѣшней, природной красотѣ. Мѣстоположеніе нашего монастыря, къ сожалѣнію, не имѣетъ въ себѣ ничего особенно красиваго. Онъ стонтъ у довольно крутаго берега, какъ будто прижать къ нему, и зданія его, неправильно наростающія кверху, представляютъ нѣкоторую картину только съ моря. Туть одна красота, именно—само море, кра-

сота общая всему Авону, обнимающая его со всъхъ сторонъ. Море видно было изъ оконъ той кельи, въ ксторой меня поселили; море свътилось въ огромныя окна новаго большаго храма, гдѣ дали мнѣ мѣсто для стоянія на службахъ. Море есть великая красота, половина всѣхъ красотъ земли, и кто полюбилъ море, тому ничто замѣнить его не можетъ. Безбрежная масса прозрачной какъ кристаллъ воды то тиха и весело волнуется, то грозна и неистово мечется; но при всякомъ своемъ движеніи и при всѣхъ перемѣнахъ дневнаго и ночнаго освѣщенія, она, въ силу своей чистоты, принимаетъ краски и оттѣнки удивительной нѣжности, отчетливости и силы. Уже отъ этого видъ моря есть истинная ласка для глазъ.

Но я насладился и другими, особенными красотами Авона. Дня черезъ два послѣ прівзда, монахи сами предложили мнѣ то, чего мнѣ чрезвычайно хотѣлось,—сдѣлать поѣздку по Святой Горѣ. Такія поѣздки составляютъ здѣсь, очевидно, обыкновенное, привычное дѣло, и вотъ я въ теченіе моего пребыванія дважды покидалъ нашъ монастырь и странствовалъ по другимъ монастырямъ, а, главное, проводилъ цѣлые дни на дорогахъ и тропинкахъ, окруженный всею роскошью и прелестію Авонскихъ видовъ. Скажу прямо, что нигдѣ и никакое путешествіе не давало мнѣ столько жи-

ваго наслажденія, какъ эти пофздки; никогда *по- хоть очей* не была удовлетворена такою обильною
и сладкою пищею.

Многое тутъ зависѣло отъ самаго способа передвиженія. На Авон' почти вовсе н'тъ колесныхъ дорогь; вся тада совершается верхомъ на мулахъ, животныхъ, которыя такъ драгоценны для всякихъ гористыхъ и бездорожныхъ мфстъ. И следовательно, всякая взда здёсь совершается шагомь, такъ что на чась пути полагается не больше пяти версть. Ничего не можеть быть лучше для того, кто желаетъ смотръть и видъть. 3-го сентября, послъ объдни, я и отецъ Г., котораго мнъ дали въ проводники, съли на муловъ; погонщикъ, грекъ, служащій по найму въ монастырь, взяль поводья моего мула и пошелъ впередъ; мы выбхали за монастырь и пустились по ложбинъ, которая шла въ гору и куда еще не заходили лучи солнца. На протяженіи ніскольких версть я совершенно освоился съ своимъ положеніемъ и оцфииль всф его удивительныя удобства. Я сидъль на мулъ также спокойно, какъ на креслъ, и безподобное животное скоро заслужило мое полнъйшее довъріе. Управлять имъ нътъ надобности, опасаться за него было бы непростительною мнительностью; какъ бы ни былъ круть подъемъ или спускъ, какими бы камнями, или рытвинами ни была усъяна тропинка, мулъ подымется и спустится всегда ровнымъ шагомъ, и никогда нога его не оборвется, никогда пе ступитъ на ненадежное мѣсто. Во всѣ поѣздки только разъ случилось, что заднее копытце моего мула немножко поскользнулось. Скоро я отобралъ ненужныя поводья у погопщика и почувствовалъ себя совершенно свободнымъ. Не только я могъ спокойно любоваться видами и разговаривать съ любезнымъ проводникомъ, но я раскрывалъ зонтикъ, когда приходилось ѣхать по горячему солнцу, свертывалъ папиросы, зажигалъ и курилъ—все также удобно, какъ если бы ѣхалъ въ коляскѣ на резинахъ.

Эти долгіе часы на мулѣ неизгладимо остались въ моей памяги. Какая красота! Теперь все у меня уже перемѣшалось, и я не могъ бы ничего разсказать по порядку; но живо встаетъ передо мною вся эта роскошная и свѣтлая пустыня. Весь полуостровъ, тянущійся на восемьдесятъ верстъ, похожъ на запущенный садъ, густо заросшій гдѣ только было можно. Южныя деревья съ ихъ живописной темной зеленью, каштаны, дубы, платаны, образуютъ по мѣстямъ высокіе вѣковые лѣса. Но вся мѣстность гористая; безирестанно открываются поляны, овраги, холмы, скалы; морской берегъ, то пологій, то обрывистый, вдругъ становится видѣнъ съ высоты, потомъ пропадаетъ и снова является, но уже съ другой стороны, а иногда, когда вы

ъдете по самому гребню, море разстилается передъ вами съ объихъ сторонъ. Трудно описывать природу. Если кто знаетъ южный берегъ Крыма, то пусть вообразить, что дей такихъ полосы садовъ и скалъ сложены спинками по той линіи, гд в подымается хребеть Яйлы; пусть представить, что такой двойной "Южный берегъ" - еще роскотнъе по климату и растительности, и что онъ по гребню густо заросъ лъсомъ, - вотъ, кажется, будеть подобіе Святой Горы. Никогда но забыть мий ранняго утра, когда мы выбхали изъ Симоно-Петра послѣ ночлега. Тропинка идеть на огромной высотъ надъ отвъсными скалами, и было видно и слышно, какъ море плещетъ въ каменный берегъ. Боже мой, какой просторъ и свътъ, какая прозрачность и чистота встхъ очертаній, какой океанъ сілющей красоты!

Не даромъ же эту прекрасную пустыню съ древнъйшихъ временъ выбрали для себя монахи. Извъстно, что монахи вообще высоко цънятъ красоту природы. Вспомните мъстоположение какого нибудь изъ монастырей у насъ на родинъ; если вглядъться, то нельзя будетъ пе согласиться, что мъсто всегда выбрано съ самымъ тонкимъ и върнымъ вкусомъ. И такъ, радость очей, наслаждение зрълищемъ природы находится очевидно въ полной гармони съ самымъ чистымъ благочестиемъ, даже съ высшими духовными подвигами. Меня поразилъ въ этомъ отношеніи одинъ разсказъ инока Пароенія. Когда онъ пришель на Аоонъ, то сталъ усердно распрашивать, кто тамь больше всёхъ славится святостію жизни; ему сказали почти въ одинъ голосъ, что всёхъ превосходить келіотъ Арсеній. Тогда Пароеній пустился отыскивать его келью, добрался до нея и былъ имъ принятъ подъ руководство. Но вотъ что онъ говоритъ о самой кельё:

"Келлія стоить на горь, на возвышеніи, на открытомъ мъстъ, откуда видно почти всю восточпую страну Св. Горы: на югь-до самого Аоона и весь Авонъ; на сѣверъ-до монастыря Пантократора и до скита Богородины; къ востоку, къ морю, подъ горой-монастырь Иверъ весь на открытін; къ востоку же-и открытое великое море Архипелать, до самаго Дарданельскаго пролива. По средв моря синвются четыре острова: Тасъ, Самовракъ, Имбро и Лемносъ; къ сѣверо-востоку синъются горы Македонскія; съ прочихъ же сторонъ келлія окружена лісами и холмами. Недалеко отъ келліи, изъ земли истекаетъ источникъ холодной и здоровой воды. Хотя келлія стоить яко свѣтильникъ на свъщницъ, на самой красотъ, но въ самой почти непроходимой пустынь, такъ что ни съ которой страны къ ней подойти нельзя: ибо окружена горами и непроходимыми лъсами. Хотя и есть къ ней двѣ тропинки, одна изъ подъ горы, а другая съ горы, но и тв очень малы, такъ что съ трудомъ можно познать "*).

Воть одинъ изъ Афонскихъ видовъ. Святой отшельникъ выбралъ для своихъ молитвъ глухое и пустынное мѣсто, но такое, съ котораго открывалась эта чудеснѣйшая папорама. Тутъ ему была готова постоянная радость; тутъ глаза его могли каждую минуту наслаждаться красотою Божьяго міра.

Въ этомъ отношеніи, мѣстоположеніе пѣкоторыхъ Аоонскихъ монастырей — поразительно. Вообще, всѣ эти монастыри построены тѣсно; вокругъ главнаго храма, стоящаго посреди двора, возвышаются со всѣхъ сторонъ корпуса келій. Эти корпуса составляютъ вмѣстѣ и самую ограду монастыря; они бываютъ во много этажей, до шести, семи, и поднимаются часто выше главъ срединнаго храма; такимъ образомъ, изъ наружныхъ оконъ верхнихъ этажей открываются безподобные виды. Два монастыря, Діописіатъ и Симоно-Петръ дошли въ этомъ исканіи свѣта и простора до послѣдней степени возможности. Они построены на большой высотѣ почти отвѣснаго каменнаго берега, притомъ такъ, что стѣны корпусовъ стоятъ на самомъ краю,

^{*)} Сказаніе о странствін п пр. Ч. II, стр. 129. (Москва, 1855).

сливаются съ обрывомъ берега. Симоно-Петръ, въ довершеніе всего, занимаеть собою цілый вруглый выстунъ, который отделенъ отъ остальнаго берега порядочною рытвиною; монастырь стоить какъ булто на отдъльномъ пикъ и составляетъ продолженіе этого пика къ верху. Теперь вообразите полнимающіеся одинъ падъ другимъ этажи, у Ліонисіата пять, у Симоно-Петра, кажется, до восьми; снаружи вдоль каждаго этажа идутъ деревлиные балконы, и вы можете спокойно по нимъ прогуливаться. Какой видъ! Море блестить и синветъ прямо подъ вами, а кругомъ необъятный просторъ, разубраный дальними островами и горами, и какъ рамка-льса и холмы, скалы и заливы Аоонскаго полуострова. Мало того; но нѣкоторой изысканности въ этомъ наслажденіи, чудные балконы обладають особенностію, которой нельзя не зам'єтить; между прекрасными и твердо укрѣпленными дубовыми досками половъ вездъ оставлены щели, правильные промежутки, такъ что лазурный свътъ моря и его сверканіе, кажется вамъ, рвутся изъподъ самыхъ вашихъ ногъ...

V.

Свѣтлою, радостною красотою осталась въ моей намяти Святая Гора. Но и обитатели ея, какъ ни мало я уснѣлъ съ ними познакомиться, оставили во мив впечатльніе людей свытлыхь и радостныхь. Противъ монашеской жизни, какъ извыстно, существують упорныя и глубокія предубыжденія. Мірскіе люди пынче построили всю свою жизнь на такихъ началахъ, что потеряли возможность даже понять, что дылають монахи. У Вогюэ, французскаго писателя, котораго у насъ такъ знають и любять, есть книжка, гдь онь очень занимательно и подробно разсказываеть о своей повздкы на Авонъ въ 1875 году *). Въ заключеніе онъ говорить:

"Память минувшаго и молчаніе! Нѣтъ, человѣкъ не можетъ жить этими двумя отрицаніями и въ этомъ скоро убѣдится тотъ, кто побываль на Аеонѣ. Никогда не удастся намъ выразить то впечатлѣніе духоты и удрученія, тотъ сплинъ, который выдыхается этою искусственною жизнью, то оцѣпенѣніе, которое овладѣваетъ умомъ при этомъ странствіи между гробами. На эту природу, столь богатую и могучую, по пораженную безплодіемъ, нечувствительно распростирается траурный покровъ; глазъ видитъ все въ черномъ цвѣтѣ, тошнота схватываетъ за сердце при вдыханіи безвкусныхъ запаховъ бальзамировки: эти восковые

^{*)} E. M. de Vogüé. Syrie, Palestine, Mont Athos. Par. 1876.

фантомы съ угасшими взглядами тревожатъ вашъ сонъ въ уединенной кельѣ. Въ послѣдніе дни напрасно мы искали какого-нибудь пріятнаго напоминанія отсутствующей жизни: намъ казалось, что печаль сочится отовсюду... (стр. 331).

Въ подобномъ тонъ говорять почти всъ о жизни монаховъ. Даже суровый Фалльмерайеръ, дѣлающій въ своемъ очеркъ такія геніальныя замѣчанія о различіи востока и запада, и умѣющій такъ глубоко цѣпить покой души, и онъ принисываетъ пѣкоторую «меланхолію» тѣмъ, кого называеть Weltüberwinder, "препобѣдившими міръ".

Между тѣмъ, сами монахи никогда не говорятъ ничего подобнаго. Они считаютъ грѣхомъ, если нодвергаются чувству унынія и тоски, и они стараются прогнать отъ себя такія чувства. А главное, они считаютъ свою жизнь по самому ея существу блаженною жизнью, исполненною лучшихъ радостей, доступныхъ человѣку на землѣ. Возьмите Письма святогориа, а еще лучше Странствіе инока Пароснія, и вы убѣдитесь несомиѣнно, неопровержимо, что въ жизни истиннаго монаха много высокихъ радостей, что монахи сердечно любятъ всю свою обстановку, всѣ свои упражненія и дѣйствительно считаютъ себя несравненно благополучиѣе всякихъ мірскихъ людей. Неправильное мнѣпіе о жизни монаховъ, миѣ кажется,

происходить отъ двухъ причинъ: отъ ложнаго понятія объ ихъ лишеніях и оть ложнаго попятія объ ихъ трудахъ. Мірскіе люди часто съ непонятнымъ безстыдствомъ принимаются сожальть о томъ, что монахи лишаютъ себя двухъ великихъ благъ, мяса и женщинъ. Можно подумать, что именно похоть плоти составляеть главную красу челов вческой жизни; большинство, вирочемъ, какъ мы знаемъ, искренно исповедуетъ это, почему во всемъ цивилизованномъ мірѣ и совершается въ огромныхъ размърахъ и съ величайшемъ усердіемъ служеніе чреву и спинному хребту. Но не нужно же забывать, что это служение пикакъ не можеть придать нашей жизни полнаго благонолучія; эти радости скоро блёднівоть и оканчиваются обыкновенно только тимъ, что человикъ впадаетъ въ тяжкое и безрадостное рабство собственному чреву и хребту. Съ отношеніями къ женщинамъ не даромъ всегда сопряжено чувство стыда, явный признакъ гръха и зла, какъ справедливо замѣчаетъ Шопенгауеръ. И такъ, почему же мы будемъ считать несчастными людей, которые совершенно свободны отъ всего, что можетъ новести къ рабству или что можетъ возбудить стылъ?

Вогюэ очень недоволент пищею Авонскихъ мопаховъ. "Вареныя тыквы или огурцы, соленая рыба, козій сыръ, арбузъ... столь въ высшей степени враждебный европейскимъ желудкамъ" (р.278). Мнѣ думается, что вся эта враждебность пронстекла только отъ появленія арбуза; французы считають арбузъ чѣмъ-то ужаснымъ, и невозможно побѣдить ихъ предразсудка противъ этого невиннѣйшаго плода. Какая сила—привычка, "чудовище привычка"!

Разсказывая о повздкв въ Карею, Вогюэ замвчаетъ: "Какъ бы было мило и очаровательно, если бы пріятный видъ этого м'ястечка быль оживлень молодыми матерями, за пряжею на своихъ порогахъ, криками дътей при звукъ лошадинихъ копыть, кудахтаньемъ курь и лаемъ собакъ; но нътъ: на шумъ нашего каравана, одни лишь черные колнаки высовываются изъ оконъ, а подъ ними исхудалыя лица и глаза, вяло блуждающіе по безграничнымъ областямъ скуки" (р. 271). Нѣсколько далѣе, авторъ пожалѣлъ даже объ игуменскомъ котъ, "нечально влачащемъ свое вынужденное безбрачіе" (р. 281). Ну не странно ли, что иныя мыели приходять въ голову какъ разъ тамъ, гдъ имъ вовсе не слъдовало бы показываться? Тишина и спокойствіе естественно кажутся несносными для живаго права; по совершенно напрасно отсюда двлаются заключенія о "безграничныхъ областяхъ скуки", о "сплинъ, выдыхаемомъ

этою жизнью", о "печали, которая сочится отовсюду" и т. д. Все это-невърный, фантастическій колорить, искажающій действительность. Самъ же Вогюэ, вездѣ, гдѣ разсказываетъ о сношеніяхъ съ монахами, невольно указываеть на ихъ "веселость", на "общительное добродушіе" и "оживленныя рвчи"; у него живо сохранилось, какъ онъ говорить, "воспоминаніе объ ихъ усердномъ гостепрінистві, о личномъ обаяцін, производимомъ всеми этими приветливыми и улыбающимися стариками, руки которыхъ мы пожимали" (р. 307). Развъ это похоже на людей, изнемогающихъ отъ тоски и печали? Итсколько далбе, стараясь разрешить "непостижниую загадку этихъ натуръ", Вогюэ пишеть: "ясныя и улыбающіяся физіономіи добрыхъ калогеровъ внолит убъждають насъ, что не какія нибудь внутренпія драмы населили эти отшельническія убъжища" (р. 315). Это совершенно озадачиваеть пашего путешественника; впрочемъ, и никто почти не находить выхода изъ этого противорьчія. Мы всь пемножко чувствуемь, какъ мы дурны и гадки, мы нъсколько нонимаемъ надобность покаянія, а потому легко воображаемъ, что монахъ есть человъкъ много нагръшившій и теперь предающійся покаянію. Мы такъ часто видимъ разбитыя сердца, погубленныя жизни, изможденныя души, что нёсколько понимаемъ и и потребность покоя, а потому объясняемъ себъ монашество, какъ жажду уединенія, какъ удаленіе отъ людей. Но дальше мы понимать не можемъ. Что въ покаяніи душа исцѣляется и свѣтлѣетъ, что въ уединеніи человѣкъ не только спасается отъ людей, а способенъ почувствовать радостное приближеніе къ Богу, словомъ, что монашество есть путь дѣйствительнаго блаженства, что, слѣдовательно, можно искать этого блаженства, вовсе не будучи ни великимъ грѣшникомъ, ни великимъ несчастливцемъ,—этого мы нопять не можемъ, это выходитъ за предѣлы всѣхъ нашихъ представленій.

Кто былъ на Аоопѣ, кто испыталъ ласковое радушіе аоонскихъ старпевъ, ихъ неистощимую доброту, тотъ никогда не приметъ ихъ за людей, удрученныхъ тоскою или скукою. Другаго я, впрочемъ, и не ждалъ; я зналъ и прежде, что чистая веселость есть обыкновенная черта отшельниковъ. Уже о первомъ изъ монаховъ, объ Антоніѣ Великомъ, Аоанасій пишетъ, что, хотя онъ былъ невзраченъ, по лицо его сіяло такою необычайною пріятностію, такъ было "весело отъ душевной радости", что по этому одному всякій узнавалъ Антонія, какое бы множество монаховъ ни было кругомъ 1). И такъ, ясныя лица многихъ мона-

¹⁾ *Теоренія Аванасія* архієп. Александрійскаго. Ч. ІІІ. стр. 263. 264.

ховъ и ихъ веселые разговоры не удивляли меня; но все же были случаи особенно замѣтные. Когда въ праздникъ 8 сентября игуменъ пригласилъ всёхъ на чай въ большой архонтарикъ, мнё случилось остановиться возл'я грунпы греческихъ мопаховъ. Одинъ изъ нихъ, съдой, восьмидесятильтній старикъ, высокаго роста, неожиданно сталъ обнимать меня, ласково глядя мнв въ лицо и трепля рукою по спинъ, и все время довольно громко смінлся, смінлся оть всей души. Этоть простодушный привъть быль мнъ чрезвычайно пріятенъ; потомъ мнъ сказали, что старецъ, которому я въроятно чъмъ нибудь понравился, быль въ большомъ уваженіи у всей нашей обители. Другой монахъ, удивившій меня своимъ постояннымъ смѣхомъ, быль тоже грекъ, игуменъ, если не ошибаюсь. Ліонисіата. Мы остановились у него въ монастырѣ и, пока насъ угощали по его распоряжению, опъ пустился распрашивать меня про Россію и политическія цёла. Онъ сидёль ноодаль на широкомъ диванъ, подобравши подъ себя ноги и перебирая четки, и безпрестанно раздавался его веселый смъхъ. Между нашими пантелеймоновскими монахами большая часть были видимо добродушны и спокойны, но особенно быль ясень лицомь и радостенъ въ разговорахъ отецъ Ап., съ которымъ я, можно сказать, подружился. Онъ заходиль не

разъ ко мив въ келію, и иногда посылалъ при этомъ случав попросить випа у отца гостинника; такъ мы и бесвдовали—я пилъ кофе съ турецкой гущею, а онъ красное вино. Все это я пишу для того, чтобы показать, что самые почтенные и высоко стоящіе изъ монаховъ чужды всякой чопорности и что въ ихъ положеніи они вовсе не чувствуютъ какого-то мрака и удрученія, или какой нибудь связанности: эта жизнь, повидимому такая искусственная, стала для нихъ совершенно естественною и нисколько не ствсняетъ ихъ души. Добросердечнъйшій отецъ Ап. былъ на счету самыхъ строгихъ и образцовыхъ монаховъ.

VI.

Къ числу свътлыхъ монаховъ принадлежалъ и игуменъ, отецъ Макарій. Мнѣ очень хотѣлось сказать объ немъ нѣсколько словъ, но теперь, когда пришелъ чередъ говорить, чувствую, что мнѣ просто невозможно выразить свое впечатлѣніе. Ну что я скажу? Его видъ и рѣчи, и движенія плѣнили меня съ перваго же взгляда, такъ плѣнили, что я не пропускалъ ни одного его слова, что старался быть во время службы въ церквахъ, гдѣ онъ служилъ, и съ глубокой отрадою вслушивался въ его возгласы. А видѣть его внѣ церкви мнѣ удалось

всетаки только три или четыре раза. Но онъ поразилъ меня и красотою своего лица и голоса, и вмѣстѣ простотою, живостью и безмятежною добротою во всякомъ своемъ движеніи. Онъ быль небольшаго роста, но очень правильныя черты его лица были крупны; лицо было блёдно и чисто какъ будто точеное изъ слоновой кости; прекрасные большіе стрые глаза были очевидно близоруки (онъ иногда прищуривался) и были прозрачно-чисты, какъ бываютъ только у истинныхъ дъвственииковъ и постниковъ. Онъ не улыбался, но на лицъ была, такъ сказать, ностоянная готовность къ улыбкъ. Ръчь его не имъла и тъни книжности, или, вообще, той искусственности, проповъднической нриподнятости или молитвенной размягченности, которая часто свойственна духовнымъ особамъ. Это была краткая, простая, всегда оживленная ручь. И онъ безпрестанно шутилъ, онъ въ каждомъ предметь находиль веселую сторону, какъ бы отнималь серіозное значеніе у трудовъ, которые самъ несъ, и у всякихъ хорошихъ и дурныхъ житейскихъ случаевъ, о которыхъ заходила ръчь. Во всемъ монастыръ, казалось, никто не чувствовалъ себя такъ легко и беззаботно, какъ этотъ игуменъ, тогда какъ никто не быль такъ обремененъ, такъ ежеминутно поглощенъ занятіями, какъ онъ. Монахи благоговъди передъ тъмъ высокимъ примъромъ, который онъ подавалъ имъ собою. Никто въ такой строгости не исполнялъ всёхъ молитвенныхъ упражненій; "онъ, какъ свёча, горить передъ нами", говорили монахи. А остальное время было все занято управленіемъ монастыремъ. Монахъ ничего не можетъ сдёлать безъ "благословенія" игумена, и каждый день изъ семисотъ человёкъ братіи 1) длинные непрерывные ряды приступали къ игумену или съ просьбами, или за распоряженіями. Онъ спалъ вёроятно не больше трехъ или четырехъ часовъ 2). Монахи жаловались мнѣ, что игуменъ слишкомъ добръ, ни въ чемъ не отказываетъ братіи, а потому къ нему идутъ даже со всякими пустяками.

Я забыль сказать, что и движенія и позы отца Макарія носили на себ'є тоть же св'єтлый характерь, какъ и все остальное; въ нихъ видна была скор'є живость и энергія, чімь заученная плавность и мягкость. Но отчего же весь его видь имієль въ себ'є при этомъ нівчто величавое, и вмієсть совершенно простое, а во время служенія—глубоко-благогов'єйное? Отчего его чтеніе и возгласы изъ алтаря не только были чужды ма-

Г. Красковскій пишеть, что число братіи теперь дошло уже до тысячи двухсоть. ("Моск. Вѣд". № 182 и сл.).

²⁾ См. "Воспоминаніе" К. Н. Леонтьева въ Гражданинъ, 1889, № № 191—211.

шинальности, но звучали сердечнымъ благочестіемъ? Этого нельзя разсказать и объяснить словами.

Отецъ Макарій быль изъ рода богатыхъ купцовъ Сушкиныхъ и, можетъ быть, бодрость и ясность, которою онъ дышалъ, составляютъ нѣкоторое наслѣдіе живучести и дѣятельности, свойственной купеческому сословію. Онъ умеръ 69 лѣтъ, постриженъ въ монахи въ 1851, былъ игуменомъ съ 1875.

VII.

Доступъ къ отцу игумену былъ очень трудепъ; но оказалось, что посъщать другихъ монаховъ было также почти невозможно. Разумъегся, мнъ очень хотълось сблизиться съ ними, и неизмънная ихъ привътливость, казалось, устраняла мальйшее къ тому затрудненіе. Но когда я зашелъ къ отцу Р., то случилось, что онъ спаль въ это время, и мнъ было совъстно, что я разбудиль его; когда я попробовалъ зайти къ отцу Аи., то засталь его читающимъ "правило": конечно я сейчасъ же ушелъ, едва успъвши взглянуть на прекрасный морской видъ изъ маленькаго окна, на который обратилъ мое вниманіе самъ обитатель кельи. Наконецъ я вовсе прекратилъ эти попытки

и только просиль монаховь, чтобы они заходили ко мив, если найдуть для этого время.

Но свободнаго времени у нихъ почти истъ. Для своего главнаго дёла, для молитвы, они должны присутствовать на всёхъ церковныхъ службахъ, а службы этн, вмЪстЪ взятыя, заинмають двВнаднать, нятнадцать, иногда двадцать часовъ въ сутки. Служащіе, причащающіеся (а всіз причащаются разъ или два въ педблю) читають, сверхъ того, еще особыя молитвы. Вследствіе этого, обыкновенно монахи не имфють семи или восьми часовъ подрядъ свободныхъ, чтобы выспаться, и потому снять мало, или высыпаются въ два или три пріема. И такъ идеть діло круглый годъ, изо дия въ день. Праздинки отличаются только тёмъ, что службы бывають торжественные и продолжительпре, и что всенощное одрніе, начинающееся въ будни въ первомъ часу почи, начинается подъ праздникъ съ семи часовъ вечера, а кончается, какъ н всегда, къ пяти часамъ утра.

Воть главное занятіе монаховь, воть ихъ постоянные и непрерывные труды. Ни одна черта аоонской монашеской жизин не приводить мірскихъ людей въ такое изумленіе, можно сказать даже въ такой ужась, какъ эти долговременныя молитвы. Фалльмерайеръ разсказываеть объ нихъ такъ:

«Изъ восьми часовъ, ежедневно назначенныхъ на молитву и исалмопфніе въ церкви, большая часть, по крайней мъръ зимою, приходится на ночь. И, недовольные еще этимъ подвижничествомъ, отцы Діонисіата, всякую субботу и паканун в извъстныхъ праздниковъ, уже съ закатомъ солнца снова идутъ въ церковь, поютъ, молятся, кадитъ, предаются богомыслію и славословію всю почь безь перерыва, пока не покажется утренняя заря; тогда лишь начинается торжественное богослужение, кончаемое ими не ранбе двухъ часовъ послб восхода солнца. Игуменъ всегда долженъ быть въ церкви. Въ зимнія почи мученіе (Qual) продолжается часто не менъе пятнадцати часовъ; но строгіе монахи, которыхъ молитвенная жажда еще не утоляется этими упражненіями, продолжають еще моленіе и бдівніе непосредственно послів общаго богослуженія, частнымъ образомъ, въ своей кельъ, и доходять мало но малу до двадцати двухъ часовъ непрерывнаго моленія и истязанія (Pienigung)". "Отъ этихъ ночныхъ бденій въ латинской церкви осталось только названіе (Vigil), въ греческой же вивств съ названіемъ сохранилось и самое діло, чему я, если бы самъ не побывалъ на Святой Горф, пикакъ не могъ бы и поверить."

"Монахи Діонисіата и Симоно-Петра— мученики заживо и могли бы выпудить къ себѣ уваженіе даже у насмѣшниковъ. Церковь, одушевляющая своихъ вѣрующихъ до такой суровости къ самому себѣ и до такого героизма, имѣетъ въ своей власти, должно думать, гораздо большія средства и силы, чѣмъ какія обыкновенно приписываются восточной церкви". "Что сказали бы о такой жизни сибариты запада?" и пр. 1).

Но почему же это намъ кажется до такой степени труднымъ и мучительнымъ? Развѣ намъ въ диковину занятія, поглощающія двѣнадцать, пятнадцать часовъ въ сутки? Нисколько. Возьмите ученаго, студента, даже гимназиста, съ утра до вечера сидящихъ надъ математикою, надъ греческимъ или санскритскимъ языкомъ; возьмите купца, цѣлый день проводящаго за прилавкомъ, мелкаго чиновника, иногда заваленнаго дѣлами, министра обширнаго вѣдомства, непрерывно принимающаго доклады и дѣлающаго распоряженія,—мало ли вокругъ насъ этихъ людей, которымъ, что пазывается, "дохнуть некогда"?

¹⁾ Fragmente aus dem Orient. II, стр. 104, 105. Кстати: докторъ Морвиъ Бушъ думастъ совершенно иначе и выразился такъ: «Авонъ въ настоящее время есть главный столпъ всей той глупости, отсталости и ограниченности, которая составляетъ сущность восточной православной церкви». (Die Türkei. Reise-Handbuch, 3-te Ausg. Wien, 1881, стр. 203). Кто бы ни былъ этотъ Бушъ, сейчасъ видво ученаго человъка углубляющагося въ сущность вещей.

А между тъмъ, эти труды далеко не пугаютъ насъ такъ, какъ пугаетъ молитва. Мы вовсе забываемъ, кромъ того, что, по своей сущности, она несравненно привлекательные всых подобныхъ дёль. Молитва вёдь есть обращение къ Богу, и, если только мы дёйствительно молимся, дёйствительно обращаемся къ Богу, она приводитъ нашу душу въ одно изъвысшихъ и отрадитимихъ состояній. Но, повидимому, здёсь приходится прибёгнуть къ тому же разсужденію, какое Платонъ (въ "Протагоръ") прилагаетъ къ добротъ души, именно, что быть добрымъ очень легко, но, если кто не добръ, то стать добрымь очень трудно. Такъ и молитва; опа сладка для тъхъ, кто сердечно расположенъ молиться; но мы такъ мало чувствуемъ въ себъ этого расположенія, мы съ такимъ трудомъ возбуждаемъ въ себъ на недолгія минуты нѣкоторую тань этого расположенія, что всякое молебствіе очень скоро вызываеть въ насъ несносную борьбу и скуку, и для многихъ бываетъ истиннымъ мученіемъ.

Впрочемъ, мучениковъ вездѣ много, какъ справедливо замѣтилъ Л. Н. Толстой. Нѣкоторымъ изъ нихъ я часто дивился на представленіяхъ оперы. На сценѣ какая нибудь блистательная декорація; волны безподобной музыки несутся изъ оркестра, нѣвцы, въ напряженіи высокихъ чувствъ, въ которое ихъ

ноставила драма, изливають эти чувства выразительнъйшими мелодіями. А между тъмъ, передъ вами сидить зритель, мучительно недоумъвающій, что ему съ собой делать. Онъ несколько минутъ поглядёль на сцену и теперь взглядываеть по сторонамъ, смотритъ на потолокъ, вертится и передвигается на кресль, наклоняеть голову то направо то налѣво, подымаетъ руку и разсматриваетъ копцы своихъ пальцевъ, заглядываетъ на дно своей шляпы... Нътъ спасенія ни откуда! Наконецъ — антрактъ - онъ стремительно уходитъ, и иногда бываетъ такъ благоразуменъ, что уже не возвращается на м'всто своего мученія. Такъ трудно челов'вку быть свободнымъ душою, такъ трудно намъ, даже на короткій срокъ, пожить чёмъ нибудь другимъ, кромѣ нашихъ личныхъ интересовъ, мелкихъ забавъ и заботъ, изъ которыхъ мы складываемъ свою жизнь и въ которыхъ за то купаемся, какъ рыба въ водъ!

Въ монастырѣ мнѣ была предоставлена, разумѣется, полная свобода занятій и провожденія времени, и сначала я придержался того порядка, въ которомъ привыкъ проводить свой день. Но съ перваго же дня я, конечпо, сталъ посѣщать церковныя службы, хотя и не всѣ, хотя часто приходилъ не къ началу и уходилъ далеко рапьше конца. Скоро, однако, равномѣрно-бьющійся пульсъ

монастырской жизни сталь мив ясно замьтень и сталь увлекать меня за собой. Сидя въ своей кельв, я чувствоваль, когда монастырь спаль среди дня, чувствоваль, когда онъ просыпался и шель въ свои церкви. Кругомъ наступала полная тишина и безлюдье, и слабо доносилось съ разныхъ сторонъ церковное пѣніе. Когда, такимъ образомъ, совершенно яспо чувствовалось, что всё тамъ, всё стоять по своимъ формамъ, или священнод виствуютъ, невозможно было оставаться одному въ своей кельъ. Я шель туда, гдв были всв, и становился въ свою форму *). И много, много отрадныхъ часовъ провелъ я въ этой формъ. Особенно любилъ я всенощныя съ теми переменами въ освещении, въ пвнін и чтенін, которыя на Авонв производятся съ такою выразительностію и красотою. Сперва молебствіе долго идеть равном врно; но нотомъ освъщение усиливается отъ незамътно зажигаемыхъ свъчей, и два хора начинаютъ ноперемъпно пъть торжественныя молитвы. Выносятся свъчи на середину церкви, выходять изъ алтаря іереи въ ризахъ и тоже хоромъ начинаютъ пѣть. Вся церковь полна свътомъ и звучить пъніемъ; иногда зажи-

^{*)} Формою называють наши монахи стасидію, отдъльное мъсто у стыны, гдъ придъланы ручки, чтобы стоя можно было опираться локтями, а пногда и небольшое откидное сидънье. Безъ эгихъ формъ долуія стоянія были бы невозможны, и каждый монахъ имъстъ свою «форму».

гается и громадное среднее наникадило. Но понемногу торжество стихаеть; пѣвчіе замолкають, іереи уходять въ алтарь, свѣчи и паникадило незамѣтно гаснуть, и церковь постепенно погружается въ мракъ и молчаніе. Только по серединѣ, въ темнотѣ, монахъ съ тоненькою восковою свѣчею въ рукѣ читаетъ вслухъ книгу, пригибая горящую свѣчу къ самой страницѣ. Проходить полчаса, часъ, чтеніе кончено, снова начинается молебствіе, начинаютъ откликаться хоры, загораться свѣчи и лампады, и и словословіе растетъ все громче и громче, и свѣта все больше и больше. Великое изящество соблюдено въ церковныхъ нашихъ службахъ, и я коснулся здѣсь только самыхъ простыхъ и внѣшнихъ его сторопъ.

Но есть ли жизнь въ этой прекрасной формћ? Для многихъ кажется непонятнымъ, какъ можно каждый день повторять все тѣ же молитвы и тѣ же священнодѣйствія. Но скептики тутъ очень опибаются. Пріятно намъ новое, еще небывалое; но и старое, тысячу разъ повторенное, можетъ дѣйствовать на насъ съ нолною своею силою, даже еще окрѣншею отъ повторенія. Каждый день одно и то же слово, одна и та же мысль, можетъ вызывать слезы на наши глаза. Разумѣется, однако, машинальность есть тотъ недостатокъ, противъ котораго всегда приходится бо-

роться при повтореніяхъ одного и того же. Вслушиваясь въ авонскія чтенія и молебствія, я часто быль поражаемъ удивительною искренностію и чувствомъ, съ которыми они совершаются. Тутъ каждое слово произносится отчетливо; тутъ никто не торопится, и каждый поеть и читаеть не для другихъ, а прежде всего для себя; совершается серіознѣйшее дѣло въ жизни этихъ людей, и ихъ молитвенное умиление звучить иногда съ невыразимою силою. Особенно удивляли меня пѣвчіе, у которыхъ, казалось бы, должно было отзываться физическое утомленіе послѣ всѣхъ долгихъ службъ; но, и въ концъ всего круга пънія, голоса ихъ звучали тъмъ же искреннимъ чувствомъ, какъ въ началь. Не могу забыть также случая повторенной молитвы. Въ то время быль болень духовникъ, отецъ Іеронимъ, и были совершаемы за его здоровье особыя молитвы. За вечерней, канонархъ отецъ Ап. сталъ произносить передъ образомъ Богоматери: "Пресвятая Богородице, спаси и помилуй раба твоего Іеронима!" и повторилъ эти слова сорокъ разъ сряду. Велика была опасность впасть въ машинальность; но канонархъ молился искреино, и всъ сорокъ разъ произнесъ свою молитву съ живымъ чувствомъ. И никакими словами невозможно описать ту трогательную выразительность, неотступность, иламенное усердіе, которыми зазвучала молитва отъ этого повторенія. Тутъ только я поняль необыкновенную красоту этихъ повтореній, когда ихъ дёлаютъ какъ должно.

Такъ живутъ аоонскіе монахи. Они живутъ въ церкви, на молитвѣ, потому что остальное ихъ время и другія діла совершенно незначительны въ сравнении съ этимъ дъломъ. Какое право пазывать эту жизнь мученіемъ и истязаніемъ? Скор'є можно сказать, что, если они достигають возможности истинно молиться, истипно благоговъть передъ священнод виствіями, то они живуть блаженною жизнью. Такъ мы воображаемъ ангеловъ, такъ мы представляемъ себЪ, что сонмы ихъ постоянно предстоять передъ Богомъ и не сводять своихъ взоровъ съ лица Божія. Для меня ивтъ никакого сомнівнія, что если есть монахи, съ борьбой и трудомъ подымающіеся на высоту этой жизни, то есть не мало другихъ, въ которыхъ это уподобленіе ангеламъ вполн'в осуществляется. И тогда, что можеть быть блажениве?

Впрочемъ, не стану настаивать; пусть въ моихъ впечатлѣпіяхъ и оцѣнкахъ можно замѣтить нѣкоторое пристрастіе. Прибавлю только одно: эти пепрерывныя молитвы неразлучно связались въ моей памяти съ мыслью объ Аоонѣ. Когда я вспомию о своей поѣздкѣ и о любезпыхъ монхъ мопахахъ, я не могу ихъ себѣ представить иначе, какъ въ церкви, за молитвой. Тамъ, за дальними морями, на свътломъ югѣ, въ цвѣтущей своей пустынѣ, они стоятъ въ большихъ и малыхъ храмахъ, съ лицами и сердцами, обращенными къ Богу. Когда бы я ни вспомнилъ объ пихъ, утромъ, или вечеромъ, или ночью, я знаю, что они дѣлаютъ: они поютъ и славословятъ, или молчатъ и благоговѣютъ. И вотъ уже тысяча лѣтъ, какъ восемь или десять тысячъ этихъ монаховъ совершаютъ эти непрерывныя молитвы, которыхъ я былъ очевидцемъ. При такихъ воспоминаніяхъ, при картинъ, возникающей въ моемъ воображеніи, умиленіе неотразимо проникаетъ въ душу, и пробуждается то чувство, которое такъ ярко горитъ на Авоиѣ, — жажда молитвы.

⁹ Сент. 1889.

Repowers, no deally electronic legals in any management of the angle o

Изъ поъздки въ Италію.

(въ 1875 г.).

"Что такое искусство? Что такое исторія?" думаль я, когда повздъ двинулся и понемногу прекратились разговоры. На эти вопросы много можеть сказать Италія, и нужно только умѣть слушать ее и понимать.

Пусть не подумаеть, однако, читатель, что я ѣхаль съ опредѣленными цѣлями, что задавался мыслью что нибудь изучать, или рѣшать какіе нибудь вопросы. Поѣздка состоялась неожиданно; мы смотрѣли на нее какъ на прогулку, и выбрали апрѣль и май новаго стиля, какъ лучшее для этого время — по увѣренію всѣхъ "Путеводителей". Готовиться я не думаль и не имѣлъ времени даже не захватилъ съ собой италіанскаго словаря.

Но мы, русскіе, находимся въ такомъ необыкновенномъ и напряженномъ положеніи, что иныя мысли невольно и всесильно овладѣваютъ нами. Ни-

чего нътъ естественнъе, что русскій человъкъ, нережжая черезъ границу, почувствуетъ себя варваромъ, или, по крайней мъръ, станетъ ждать себъ великихъ поученій и откровеній. Мы, младшій язъ великихъ народовъ, поставлены судьбою въ положеніе, в роятно, безприм рное въ исторіи, въ положеніе, тяжесть котораго чувствуется на всёхъ явленіяхъ нашей жизни. Мы живемъ въ безпрерывной борьбъ между влеченіями собственной природы, собственнаго развитія, и всемогущимъ вліяніемъ Европы. Мы то смиряемся передъ нею, какъ усердные школьники, то заносимся, какъ школьники взбунтовавшіеся; но равнодушными или спокойно-увъренными мы не можемъ оставаться. Та въра въ Россію, безъ которой мы не могли бы жить, какъ не можетъ жить и отдёльный человъкъ, потерявшій всякую въру въ себя — эта глубокая и непоколебимая вфра, конечно, живеть въ насъ и иногда сказывается, но сказывается совершенно инстинктивно, въ формъ безсознательнаго чувства, котораго оправдать мы не умфемъ, которое, какъ задуваемое пламя, мечется во всъ стороны отъ ръзкихъ въяній нашей литературы, западнаго просвъщенія, почти всъхъ нашихъ понятій, сложившихся на европейскій ладъ. Даже тѣ, кто не скрываетъ, а исповѣдуетъ эту вѣру, лолжны часто сказать съ поэтомъ:

Умомь Россію не понять, Аршиномъ общимъ не измѣрить; У ней особенная стать — Въ Россію можно только върить!

Но я все говорю объ Россіи, а мий нужно говорить объ Италіи. Я хотиль бы разсказать — если съуми — какъ Италія побидила меня, какъ она овладила мыслями, которыя были направлены совершенно въ другую сторону, какъ оставила въ души неизгладимое впечатлине, котораго я не ожидаль и къ которому не готовился.

Путешествіе сділало свое діло. Путешествіе хорошо именно тѣмъ, что оно освобождаетъ нашу душу отъ ея обыкновеннаго содержанія и ділаеть ее, такимъ образомъ, доступною для мыслей болье общихъ и широкихъ. Уже когда вы сидите въ вагонь, праздно глядя въ окно, вамъ предстоитъ одно изъ двухъ — или скучать по вашимъ обыкновеннымъ занятіямъ, по тёмъ заботамъ и удовольствіямъ, которыя мішають думать и такимъ образомъ облегчають жизнь, или же запяться, какъ серіознымъ дѣломъ, тѣмъ думаньемъ, которое обыкновенно мы откладываемъ и даже отгоняемъ отъ себя, какъ помъху настоящему дълу. Потомъ вы видите предметы новые, то есть не связанные съ міромъ вашихъ привычныхъ представленій; вы часто остаетесь къ нимъ, поэтому, равнодушными, но, если заинтересуетесь, то это будеть уже общій, отвлеченный, чистый интересъ. Не смотря на то, сначала вы все еще полны мыслями собственной текущей жизни; если вы бдете не одни, отыщете знакомаго, получите письмо - нить этой жизни опять завязывается. Но проходить двё-три недъли, и вы чувствуете наконецъ, что нить совершенно разорвалась. Вы встаете утромъ въ незнакомомъ городъ, и чувствуете, что уже нъть ни повода, ни нужды, ни возможности переворачивать въ умѣ ваши петербургскія соображенія и чувства. Ivma вполнъ чиста, вполнъ свободна. А кругомъположимъ въ Римъ – исторія двухъ съ половиной тысячь лёть, самая громкая изъ всёхъ исторій міра; кругомъ — единственныя по обилію и красотъ собранія произведеній искусства. Идите и смотрате и если вы теперь не поймете, что такое исторія и въ чемъ сущность искусства, то едва ли будетъ у васъ для этого лучшее время.

Мы только переночевали въ Варшавѣ, только сутки провели въ Вѣнѣ и пустились въ Венецію. Я ѣхалъ, еще не имѣя твердаго плана, еще не рѣшивши вполнѣ, какъ проведу эти два мѣсяца. Но когда мы тереѣхали италіанскую границу, когда я вмѣсто нѣмецкаго услышалъ пѣвучій италіанскій языкъ, когда увидѣлъ эти красивыя, спокойныя и мягкія лица, эту спокойную, мягкую

въжливость - во мнъ шевельнулось радостное чувство, и я решилъ, что кроме Италіи никуда не новду. Туть начинался другой мірь, люди другаго склада, другой исторіи. Въ самомъ дёль, отъ Петербурга до итальянской границы, какъ мнв показалось, не было замѣтно никакого рѣзкаго перехода. Польскій край не отдёляется р'язко отъ русскаго, и Австрія, которую я туть видёль въ первый разъ, оказалось прямымъ продолженіемъ нашего польскаго края. Въ повздв, который везъ насъ въ Въну, ъхалъ какой-то отрядъ солдатъ, и мы замътили, что многія лица имъли даже нашу славянскую физіономію. Вообще, Австрія не поражаетъ темъ порядкомъ, чистотою, возделанностію каждаго клочка земли, теми очевидными знаками настойчиваго и точнаго труда, которыми я быль пораженъ дввнадцать летъ назадъ, когда въ первый разъ перевхаль границу въ Эйдкуненв. Но нужно сказать еще болье. Отъ Петербурга до италіанской границы несомнівню существуєть какое-то однообразіе-въ одеждь, въ манерь держать себя, въ стрижкъ волосъ, постройкъ домовъ и т. д. Я никогда не думалъ, чтобы нъмецкое вліяніе было у насъ такъ сильно. Это трудноуловимое внѣшнее сходство особенно рѣзко бросилось мив въ глаза на обратномъ пути. Мъсяца полтора я бродиль по улицамъ итальянскихъ

городовъ и такъ же привыкъ къ ихъ физіономіи, къ фигурамъ ихъ жителей, какъ и къ ввчно-ясному небу. Пришлось наконецъ фхать-и я изъ Милана прямо перенесся въ Мюнхенъ, котораго никогда прежде не видалъ. Уже вовремя переъзда меня заинтересовалъ одинъ нѣмецъ, который всѣмъ, и ростомъ, и фигурой, и страшными нижними челюстями, живо напоминалъ Бисмарка; конечно, въ Италіи ніть и тіни такой породы людей, и я смотрълъ на него съ невольнымъ вниманіемъ. Но еще сильнъе меня поразила физіономія домовъ, когда мы стали подъбзжать къ Мюнхену. Въ нихъ было, во первыхъ, что-то мизерное и неизящное, а во вторыхъ, что-то знакомое, родное. Я вздохнулъ по Италіи, которая, вообще, никогда не казалась мнъ такою царственною, величавою, какъ въ эти два три дня, пока я тхалъ по Германіи. Впечатленіе первыхъ домовъ Мюнхена усилилось, когда на другой день я сталъ гулять по городу, заходить въ музеи, кафе и т. д. Не съумъю точно выразить, въ чемъ дело, но я живо чувствовалъ, что здёсь не чудесный міръ Италіи, а все будничное, и при томъ очень похоже на наше. Напримъръ, меня удивили бюсты съ воротниками, подпирающими челюсти, съ усами, съ бакенбардами. Бюстъ съ банбардами!-ни одного такого бюста вы не встрътите въ цълой Италіи, а тамъ

дѣлають бюсты двѣ тысячи лѣтъ! Но у всѣхъ или полная борода, или все лицо голое.

И такъ, я остался въ Италіи и пробыль въ ней все время, какое было можно. Кромъ симпатін къ италіанцамъ, у меня прежде всего было желаніе насладиться природою; я воображаль чудеса, я думаль, что увижу что нибудь даже лучше удивительныхъ дней, проведенныхъ мною на южномъ берегу Крыма, что повторятся и будуть окружать меня по цёлымъ днямъ тѣ волшебныя картины, тв сказочно прекрасныя краски и тъни, которыя я когда то виделъ нъсколько минуть на озеръ Четырехъ Кантоновъ, или въ гавани Ливорно, когда я прівхаль туда моремъ при восходъ солнца. Но эти ожиданія не сбылись. Зима въ нынѣшнемъ году была въ Италіи суровая, и потому весна наступила поздно и слишкомъ быстро. Въ Венеціи было дождливо и холодно. Мы передвинулись прямо въ Неаполь (черезъ Анкону), но и тамъ было тоже. Такъ и и не видалъ красиваго моря, то есть моря въ полной его красотв. Я ждаль въ Неанолв сколько можно, но такъ и не дождался настоящихъ неаполитанскихъ дней. Два три ясныхъ дня были слишкомъ вътрены и недостаточно теплы. Первые дни въ Римѣ-опять дождь, а потомъ быстро стало тепло, такъ что не было того средняю времени, которое такъ цѣнятъ и пріѣзжіе и сами италіанцы. Такъ и случилось, что я не видалъ того прозрачнаго воздуха, отъ котораю зависить вся прелесть видовъ, который мы, жители съвера, знаемъ только по картинамъ, и который въ действительности превосходить (въ одномъ, по крайней мѣрѣ, отношенін), всякую картину. Картина, какъ извъстно. яснье выражаеть намъ смысль зрылища, его гармонію; она можеть даже передать ръзко впечатленіе цветовъ, уловивъ вполне ихъ контрасть, всю силу ихъ взаимнаго отношенія. Но она не можеть доставить того какъ-бы физического наслажденія, которое дается созерцаніемъ роскошныхъ красокъ и далекихъ видовъ въ дъйствительности. Тутъ глазъ какъ будто пьетъ эти краски, какъ будто плаваетъ въ нихъ, тонетъ и погружается, и это впиваніе только вновь рождаетъ жажду, это погружение непрерывно освъжаетъ. Первое условіе такого наслажденія есть воздухъ, въ которомъ бы самые дальніе предметы обрисовывались совершенно отчетливо. Облака имъють мало красоты именно потому, что они мало отчетливы. Очевидно, органъ зрѣнія (то есть не глазъ, а наша душевная сила) чувствуетъ радость своей деятельности, когда схватываетъ пространственныя отношенія вполит опредтленно. Другая его радость-пріятный цвѣтъ; но цвѣтъ предметовъ

всегда становится пріятенъ, какъ скоро вы ихъ видите на очень далекомъ разстояніи. Воздухъ отнимаетъ у красокъ ихъ рѣзкость и терпкость; онѣ получаютъ нѣжный отливъ и какой то блескъ, такъ что, напримѣръ, дальнія горы стоятъ точно серебряныя или стекляныя.

Говорять: "увидъть Неаполь и потомъ умереть!" Въ этой поговоркъ, безъ всякаго сомнънія, подразумъвается "увидъть съ моря", увидъть издали весь амфитеатръ города, расположеннаго вокругъ залива на покатостяхъ горъ и спускающагося къ самому морю. Я очень старался увидать это зрѣлище въ его полной красотъ-и не видалъ. Я дважды пускался въ море на дрянномъ пароходь, который каждый день совершаеть увеселительную поъздку въ Сорренто, на Капри, и потомъ назадъ. Во второй разъ я долго выжидаль; утромъ я бывало тотчасъ выходилъ на набережную Santa Lucia (Hôtel de Rome стоитъ тутъ же на набережной) и смотрълъ на море. Выхожу разъ и вижу наконедъ, что утро восхитительное; море совершенно утихло, и по немъ пошли зеркальныя дорожки. Я тотчасъ собрался и думалъ уже, что мое желаніе навърное исполнится, что я увижу ту картину, послѣ которой можно умереть. Но воздухъ оставался слегка туманнымъ, какъ и прежде; чъмъ шире развертывался передъ глазами Неаполь,

тъмъ хуже онъ былъ видънъ. И чѣмъ дальше мы илыли, тъмъ больше портилась погода; не успѣли мы доѣхать до Капри, какъ вѣтеръ усилился и по небу потянулись бѣлыя полосы, а къ вечеру, на обратномъ пути, мы не только не видѣли хорошенько Неаполя, а еще иззябли и шли съ порядочною качкою.

Гораздо больше и удачнее я насладился другимъ зрѣлищемъ - видомъ Неаполитанскаго залива, темь чудеснымь видомь, который открывается изъ самаго Неаполя и составляеть всегдашнюю картину, развернутую передъ его жителями. Лучшій видъ на эту картину, безъ сомнънія, съ набережной Santa Lucia, на которой я жилъ. Если представить себф Неаполитанскій заливъ въ видф подковы, то эта набережная прійдется на одномъ концъ подковы, а Везувій на другомъ. Santa Lucia имѣетъ небольшое протяжение, и только съ нея открывается полная красота залива. Красота эта заключается въ томъ, что вы видите огромное пространство и множество предметовъ, видите большое протяженіе воды, загибающійся берегь, зданія его покрывающія, горы, которыя тянутся за ними, и на концѣ подковы — Везувій. Но этого мало, Несравненное достоинство этаго вида заключается въ томъ, что его общирность не превосходитъ силъ человъческаго зрънія и потому не сопровождается

никакимъ оптическимъ обманомъ. Не мало видовъ на землѣ, которые гораздо шире и разнообразнѣе; но обыкновенно зрвніе уже не въ силахъ схватить точное отношение предметовъ. Далекія горы кажутся близкими, одна громоздится на другую и, вообще, глазъ находится въ полной невозможности оцфиивать разстоянія. Между тімь, Везувій не кажется близкимъ съ Santa Lucia; все разстояніе отчетливо видно, такъ что громадные размфры горы, всф очертанія строеній, тянущихся вдоль залива, вся ширина самаго залива — не скрадываются, не сливаются, а именно развертываются, разспростираются. Глазъ отчетливо видитъ самое большое пространство, какое онъ въ силахъ видеть. Прибавьте къ этому чудесныя краски, прибавьте, что видъ заканчивается не простою горою, а живою, которая вѣчно дымить, въчно пламеньеть внутри - и вы получите эту несравненную картину, самую живую, самую отрадную для глазъ.

Santa Łucia именно по этому, по красотѣ открывающагося вида, есть лучшее мѣсто Неаполя. Она и по населенію составляеть одинь изъ его центровъ, но только для народа, а не для неаполитанской аристократіи и не для пріѣзжихъ богатыхъ людей. Народъ упорно удержалъ за собою лучшее мѣсто, и, такъ какъ оно, вслѣдствіе этого, шумно, не опрятно и грязно, то богатые жители и туристы

расположились на другой набережной, Chiaja, которая подъ угломъ примыкаетъ къ Santa-Lucia. Къяйя образуетъ длинную прямую линію, съ которой уже не видать залива, а видно только открытое море. Вдоль самаго берега тянется узкій садъ, такъ называемая Villa Reale — главное гулянье Неаполя. За садомъ идетъ узкая дорога для прогулки верхомъ; за этой дорогой — мостовая для катанья въ экипажахъ, за мостовой — рядъ огромныхъ домовъ, на половину отелей, которые, такимъ образомъ, смотрятъ своими окнами на открытое море. Въ праздничный день, въ воскресенье передъ объдомъ, то есть передъ закатомъ солнца, все здъсь бываетъ удивительно полно; нътъ конца пътеходамъ, экипажамъ и верховымъ.

Къ сожалѣнію, зрѣлище довольно однообразно. Въ одной части сада есть, впрочемъ, чудесныя деревья, напримѣръ, нѣсколько огромныхъ финиковыхъ пальмъ. Какъ разъ на половинѣ линіи сада въ праздничные дни играетъ небольшой оркестръ военной музыки. Я купилъ себѣ не далеко стулъ и усѣлся такъ, чтобы какъ можно удобнѣе разсматривать гуляющихъ. Эта однообразная толпа щеголей оказалась небезъинтересною. Когда я просидѣлъ полчаса, всматриваясь въ гуляющихъ, я сталъ думать: "странно! здѣсь все молодые люди; куда же дѣвались старики?" Я сталъ внимательнѣе, и тогдатолько

замътилъ, что у многихъ волоса на вискахъ и затылкъ сильно серебрятся. Усы, очевидно, подкрашены, а по чертамъ лица вы ни за что не отличите старика. У насъ въ тридцать лътъ на лицъ человъка отнечатавнаются его страсти, его душевныя движенія, а у нихъ и въ пятьдесять лицо еще чисто, какъ у юноши, безъ привычныхъ морщинъ, безъ укоренившихся гримасъ. Какія чудесныя лица! Неаполитанцы славятся своею красотою — и справедливо славятся. Правда, русскія дамы все говорятъ, что лица ихъ мало выразительны, мало подвижны, похожи на парикмахерскія вывёски точно такъ какъ у италіанокъ наши мужчины не находять въ лицъ игры ума, тонкой психической жизни. Но эти сужденія очевидно внушены пристрастіемъ къ нашему сѣверному типу красоты. Неаполитанцы — я говорю именно о неаполитанцахъ, а не о другихъ италіанцахъ - имѣютъ правильныя южныя черты, особенно замъчательныя мягкостію. Я старался отдать себѣ отчетъ, въ чемъ состоить эта мягкость, и замътиль только, что углы нижней челюсти у нихъ какъ-то сглажены. Странно, что женщины представляють совершенно тотъ же типъ, но не только не красивы, а скорве дурны.

А какъ держатъ себя эти красивые мужчины! Вотъ образецъ хорошихъ манеръ, въ наилучшемъ

смыслѣ этого слова. Никакой изысканности или чопорности, ни тени франтовства, фатства, холодности, надутости и тому подобнаго. Все такъ просто, мягко, ясно и спокойно, какъ только можно пожелать. Я помню, какъ однажды; идя по главной улицѣ Неаполя, я все больше и больше поражался спокойствіемъ и ясностію этихъ лицъ, безъ конца мелькавшихъ предо мною. Я всматривался, желая подмѣтить выраженіе страданія, озабоченности, какого нибудь напряженія, - и не находиль ничего. Въ самый разгаръ уличнаго движенія и на лицахъ самыхъ последнихъ бедняковъ не было даже торопливости. Вдругъ на поворотъ мнъ чтото загородило дорогу. Это быль пышный открытый экипажъ, въ названіи котораго боюсь ошибиться. Я подняль глаза: въ немъ сидели, ожидая чего-то, пожилая дама и пожилой мужчина, и на лицахъ ихъ мнъ бросилось въ глаза такое выразительное смѣшеніе тщеславія, раздраженности и изношенности, что контрастъ съ окружающимъ населеніемъ вышель необыкновенно разкій. Дайствительно, это были прівзжіе, и даже — русскіе.

Право, удивительное впечатлѣніе производить уличная толпа въ Италіи. Они всѣ чистенько одѣты; они не кричать, не толкаются, не харкають, не сморкаются, и, вѣроятно, не плевали бы, если бы безспрестанно не курили. Если кто нибудь толкнеть

васъ или отхаркнется надъ самымъ ухомъ -- посмотрите хорошенько, и вы всегда найдете, что это нъмецъ, методически совершающій путешествіе для повершенія своего образованія. Пьяныхъ въ Италіи ніть; если же когда и случится такой грівхь, сейчасъ видно, что они не умѣютъ и быть пьяными. Отъ лишняго вина ови не оживляются, а засыпають какъ дети. Мнё довелось раза два видъть эти идиллическія сцены, и каждый разъ почему-то въ театръ. Театры я усердно посъщалъ, несмотря на то, что главные были уже закрыты. Италіанцы слушають музыку и смотрять драматическія представленія съ самою наивною жадностію, и тишина въ театрахъ прерывается развѣ только восклицаніями въ полголоса, - знаками живъйшаго наслажденія. И музыка, и пініе, и игра все очень върно и правильно, хотя на мелкихъ театрахъ, разумъется, оркестры ничтожные, голоса крошечные и актеры рядовые. Я слышалъ однако безподобнъйшую Церлину въ "Фра-Діаволо", и чудеснаго гуляку офицера въ опереткъ "Educande di Sorrento", пьесѣ домашняго неаполитанскаго сочиненія. Они пъли въ совершенствъ, хоть и небольшими голосами.

Вѣжливость эсть неизмѣнная черта италіанцевъ — и какая вѣжливость! Простая, спокойная, ровная, не заученная, а присущая въ самой крови.

Французы, знаменитые своею въжливостію — и тъ зам вчають эту черту, какъ что-то особенное. Такъ Тэнъ, отзывающійся съ величайшимъ презрівніемъ, хотя и добродушнымъ, о невъжествъ италіанцевъ, объ ихъ праздности и распутствъ, о скудости ихъ Умственной и политической жизни, говорить, однако, что жить среди такого въжливаго населенія пріятно. Но меня эта черта наводила иногда на грустныя размышленія. Вѣжливость — вѣдь это добродътель старыхъ народовъ, это признакъ долгой опытности. Все время, какъ я былъ въ Италіи, я невольно вспоминалъ, что нахожусь среди народа, которому отъ роду не тысячу лётъ, какъ намъ русскимъ, а двъ тысячи съ половиной. И я совершенно увъренъ, что нынъшніе жители Неаполя имъютъ еще много сходства съ жителями древней Партенопен, и что нынъшніе римляне все еще похожи на римлянъ временъ Цезаря. Неаполитанцы немножко нищіе и попрошайки, римляне, напротивъ, до сихъ поръ сохранили частицу гордости, когда-то свойственной городу, владычествовавшему надъ міромъ. И такъ, исторія не сгладилась и не можетъ сгладится до конца: она живетъ въ крови и въ душѣ этаго населенія. Вотъ гдѣ, въ этой длинной исторіи, какъ мнѣ казалось, источникъ врожденной въжливости италіанцевъ. Когда народъ долго и много жилъ, онъ знаетъ, что для взаимнаго удоб.

ства, для спокойствія отношеній, для легкости жизни, всего необходимѣе не братская любовь, не взаимное уваженіе, не строгая справедливость, — вещи трудно достижимыя и часто очень неудобныя, — а нужно то внѣшнее равенство и вниманіе, та внѣшняя уступчивость и готовность къ услугамъ, которыя составляють вѣжливость.

Есть у италіанцевъ еще явный признакъ, что они народъ старый, много жившій и испытавшій; это ихъ dolce far niente. Они знають толкъ въ праздности и умбють ею пользоваться. Этоть народъ когда-то быль такъ деятеленъ и энергиченъ, что его деятельность и энергія остались въ исторіи въчнымъ и недосягаемымъ образцемъ. Теперь они знають всю тщету дъятельности, они пережили увлеченіе всякими подвигами, всякимъ величіемъ, и, хотя они не сдёлались отшельниками, не отреклись отъ міра, они, однако, какъ будто питаютъ въ тайнъ убъждение, что ничего не дълать лучше, счастливье, чымь суетиться по напрасну. Ныть никакого сомниня, что Италія помнить свою исторію, и что эта исторія ее подавляеть. Вотъ отчего въ этой странѣ чувствуется такая спокойная, ясная тишина, не смотря на всякія поверхностныя и мастныя волненія

Когда я вернулся въ Петербургъ, въ три дня перенесшись сюда изъ Милана, я былъ пораженъ

ръзкимъ контрастомъ. Железныя дороги своею быстротою и своими закупоренными вагонами удивительно способствують ощущеніямь такихъ контрастовъ. Я вдругъ попалъ въ большую суету: вев заняты, вев торопятся; на лицв каждаго прохожаго вы прочитаете очень ясное выражение хлопотливости, самодовольства, радости, труда, насмѣшки... Подвижныя и разнообразныя лица ни на минуту не остаются спокойными. А сверхъ того: всь улицы чинятся, на каждой строятся и красятся дома, вездѣ заборы и тачки, всѣ каналы полны барокъ съ кирпичами и известкой, и ни одного человъка гуляющаго по этимъ улицамъ — былъ конецъ мая, и всѣ, кто можетъ и умѣетъ гулять, уже покинули городъ. Словомъ, Петербургъ имълъ всѣ признаки города, который только еще строится, а его жители — людей очень мало жившихъ на свътъ. "О, мы еще молоды и еще свъжи!" подумалъ я.

Неаполитанскій заливъ открывается со многихъ точекъ Неаполя, хотя, разумѣется, изъ улицъ, большею частію страшно узкихъ, и изъ домовъ, стоящихъ сплошными массами, его не видать. Но недавно стали проводитъ и уже почти кончили иовую очень длинную улицу — Corso Vittorio, довольно широкую и отлого подымающуюся и извивающуюся по горѣ; съ этой улицы безспрестанно

вид'ынъ заливъ. Я любовался заливомъ однако же еще лучте, чѣмъ съ Corso Vittorio; въ самый ясный мой день въ Неаполѣ я былъ въ монастырѣ Санъ-Мартино, который стоитъ на самой высшей точкѣ Неаполя; видъ оттуда безподобный.

Этотъ монастырь сто́итъ вниманія, и мое посѣщеніе принесло мнѣ много и удивленія, и самаго глубокаго наслажденія.

Утромъ я вышелъ по обыкновению бродить, и на Via Chiaja (не набережная, а улица, ей параллельная) зашель въ маленькую кофейную выпить чашку чернаго кофе. Я решился идти въ монастырь пешкомъ, и потому сталъ спрашивать у хозянна кофейни дорогу. (Кстати — каксе удовольствіе пытаться говорить на незнакомомъ языкѣ, и чувствовать, что можешь вести маленькій разговорь!) "А вотъ, отвѣчалъ онъ, войдите налѣво во вторую дверь отсюда, подымитесь въ третій этажъ, и нерейдите мостъ — а тамъ все прямо, все прямо!" Такъ я и сдълалъ; и вошелъ въ какой-то домъ и въ третьемъ этажъ, не безъ удивленія, нашелъ выходъ на мостъ, который перекинутъ черезъ улицу и однимъ концомъ унирается въ этотъ домъ, а другимъ продолжается въ поперечную улицу. Я пошелъ по ней и сталъ подыматься все выше и выше. Скоро улица, удобная для экипажей, прекратилась и началось ифчто среднее между улицей

и лѣстницей. Мнѣ предложићи осла — я отказался, и напрасно. Хотя снизу, съ берега, монастырь кожется близко, я цѣлый часъ подымался по этимъ отлогимъ ступенькамъ, и если не уморился до копца, то только благодоря чудесному воздуху и чудесному виду, который открывался тѣмъ шире, чѣмъ выше я всходилъ.

Наконецъ, вотъ ворота. Такъ какъ я очень неприлежно штудировалъ своего Бэдекера, то я вообразилъ, что тотчасъ увижу монаховъ, заготовилъ нѣсколько вопросовъ по итальянски и соображалъ— не застану ли какой службы. Во мнѣ заговорило любопытство и чувство нѣкотораго умиленія. Вхожу въ ворота — пусто, никого нѣтъ. Прохожу въ другія ворота — онять пусто, и только стоятъ какіе-то запряженные экипажи. А! подумалъ я: это богатые богомольцы — вѣрно есть служба. Перехожу дворъ и хочу пройти въ третьи ворота мимо какихъ-то военныхъ. "Возьмите билетъ", говорятъ мнѣ. Вижу столикъ и за нимъ солдата съ билетами. "Сколько? — Одинъ франкъ".

Какое разочарованіе! Монастырь упраздненъ— и правительство показываеть его за деньги. Я взяль билеть, вошель въ какой-то крытый дворикъ, отказался отъ провожатаго и сёль отдыхать на отворениомъ балконъ. Моръ блестъло великолъпной лазурью; видънъ былъ не только заливъ, но

и тотъ горизонтъ, который открывается съ Chiaja. Я зналъ, что цвътъ неба бываетъ несравненно гуще, что дымъ изъ Везувія иногда нодымается узкимъ столбомъ, а не сносится вътромъ, какъ теперь; но и то, что я видълъ, было очень ярко, очень красиво, очень радостно.

Отдохнувши, я пустился бродить одинъ по монастырю и скоро пональ въ монастырскій дворь, тоть самый, о которомъ пишеть Тэнъ, какъ о главной красѣ монастыря. Постройка такихъ дворовъ (chiostro) везд'в одинакова; по встмъ четыремъ стенамъ идутъ галлереи или портики, сторона которыхъ, обращенная во дворъ, состоитъ изъ ряда колоннъ, подпирающихъ легкія арки. Дворъ, въ которомъ я очутился, быль очень великь и представляль неравненное великолбије. Полъ, колонны, перила между ними, барельефы на стѣнахъ, колодезь посреди двора, ограда, илиты и намятники кладонща, занимающаго одинъ уголъ двора-все было изъ бълаго мрамора, мрамора удивительной бълизны и, кром'в того, полированнаго. Ряды колоннъстройныхъ, сіящихъ-составляли чудесное зрфлище. На низкой оградъ кладбища лежали черепа изъ полированнаго мрамора, какъ-будто настоящіе костяные черена. Я ходиль по этимь мраморнымъ галлереямъ, и не могъ досыта налюбоваться ими. Туть когда-то, думаль я, прохаживались

монахи, навсегда ушедшіе отъ міра въ это уб'єжище. Теперь все пусто. Ходитъ одинъ сторожъ и метелкой обмахиваетъ рѣзьбу мраморныхъ перилъ, какъ будто эта драгоцѣнная вещь стоитъ пе на открытомъ воздухѣ, не на дворѣ, а гдѣ-нибудь въ залѣ большаго музея. Большей про стоты и болѣе царскаго вѣликолѣпія невозможно придумать для мѣста посвященнаго созерцательнымъ прогулкамъ.

Долго я не могъ вырваться изъ очарованнаго двора; наконецъ, принялся искать выхода, прошелъ одинъ, другой корридоръ, отворилъ маленькую дверь, — вижу какую-то большую залу. Вхожу,
вижу сторожъ съ метлой и въ шанкѣ говоритъ о
чемъ-то съ солдатомъ въ кени. Осматриваюсь — да
вѣдь мы въ алтарѣ! Я невольно снялъ шляпу.
Зачѣмъ же кощунствовать? Зачѣмъ безъ всякой
нужды и цѣли выказывать неуваженіе, или даже
только пренебреженіе, къ предметамъ, которыхъ
весь смыслъ — въ глубочайшемъ благоговѣніи?

Я вышелъ на средипу пустой церкви, нодпялъ глаза и обомлѣлъ отъ восхищенія. Колонны, своды, карнизы, мраморные завитки и перилы — все какъ-будто пѣло и играло, какъ-будто подымалось, закруглялось, вилось, протягивалось въ стройныя линіи, неслось одно надъ другимъ, ониралось одно на другое. Впечатлѣнія прекрасной архитектуры

невыразимы словами. Я слышалъ во всемъ что-то живое, какую-то свътлую и тихую гармонію. Воть и опустиль глаза—и все исчезло; подымаю глаза—и опять все поетъ, и невозможно насмотръться.

Церковь эта имъетъ свътлый, радостный характеръ, безъ всякой тъни мрачности и страха; она очень величава, но безъ того величія, которое подавляетъ. Въ ней все изъ мрамора разныхъ цвътовъ, больше всего свътлыхъ. Статун и барельефы—полированы самымъ тщательнымъ образомъ, такъ что производятъ не привычное намъ впечатлъніе мрамора, а походятъ на отличный фарфоръ, покрытый глазурью. Сначала это странно, но потомъ глазъ находитъ въ этой политуръ большую пріятность. Нъкоторыя статуи Микель Анджело (напримъръ Моисей) тоже полированы.

Нотолокъ и стѣны церкви покрыты огромными картинами, конечно, лучшихъ художниковъ. Но и не сталъ на нихъ смотрѣть, и старался только насытить свои глаза зрѣлищемъ удивительнаго зданія; съ сожалѣніемъ взглянулъ и даже на англичанина, который вошелъ послѣ меня, снялъ шляпу такъ же какъ и и, но тотчасъ же уперси глазами въ свой гидъ, отыскивая, что именно слѣдуетъ здѣсь смотрѣть, и пошелъ методически отъ одной картины къ другой. И не смотрѣлъ на картины, и это былъ первый опытъ, показавшій мив сла-

бую сторону живописи вообще. Я потому могъ не смотръть на картины, что онъ не имъють постаточно силы, чтобы заставить на себя смотрать. Вообще говоря, это довольно тусклыя пятна, которыя получають смысль только при нарочномъ вниманіи, на нихъ обращенномъ. То ли дівло статуя, сводъ, колоннада! Тутъ вы, напротивъ, не можете уйти отъ впечатл'внія, не можете не видіть. Картина требуетъ большой сохранности, хорошаго освъщенія, - и при всемъ этомъ нужно еще выбирать точку, гдф стать, ту единственную точку, съ которой надлежащимъ образомъ видна картина. Я говорю здёсь о картинахъ масляными красками; фрески уже имъютъ то преимущество, что этой точки выбирать не пужно, что можно идти мимо изображенія и опо не искажается передъ вашими глазами. Въ монастырскихъ переходахъ-вотъ гдъ настоящее мъсто фрескъ, гдб онъ достаточно освъщены, паходятся на падлежащей высоть, представляють всё условія, при которыхъ можно долго н удобно созерцать живописное изображение. А еще лучше живонись на стеклахъ оконъ. Только она обладаеть всею силою и прелестью, какую могуть имать краски и фигуры, изображенныя на плоскости. Эффектъ нфсколькихъ т зихъ картинъ въ Миланскомъ соборъ-поразителе ь.

Другое дѣло, говорю, статуя. Она бросается

въ глаза во сто разъ сильнѣе, чѣмъ картина; обойдите ее кругомъ—вы не потеряете, а съ каждымъ шагомъ уясните себѣ и усилите ваше впечатлѣпіе. И если вы ее уже знаете, то издалека, въ полутьмѣ, даже завидѣвъ только часть, голову или руку, вы почувствуете всю силу фигуры.

Но всего неотразимѣе дѣйствуетъ внутренностъ храма. Когда войдете въ Пантеонъ, то куда бы вы ни обратили взоръ, гдѣ бы ни стали и какъ бы ни пошли, зданіе будетъ обнимать васъ своимъ впечатлѣніемъ, не дастъ вамъ ни на минуту выйти изъ-подъ своего вліянія. Таково дѣйствіе готическихъ храмовъ, напримѣръ св. Стефана, которому я удивлялся въ Вѣнѣ; таково дѣйствіе и церкви въ Санъ-Мартино.

О томъ, чъмъ достигается эта цъльность внечатлънія, эта сила охватыванія, я покамъсть не стану говорить. Замъчу только одно обстоятельство — монастырь Санъ-Мартино не имъетъ никакой красоты снаружи, не представляетъ никакого вида; такъ и его чудесная церковь хороша только внутри. Впослъдствіи я убъдился, что это не случайность, а, очевидно, дъло сознательное и умыш ленное, что, тогда какъ мы хлопочемъ о красивой наружности нашихъ церквей и зданій, тутъ все жертвовалось внутренности зданія. Пантеонъ, Ватиканъ—снаружи ничего не представляютъ и не должны были представлять: между тёмъ внутри Пантеонъ—конечно, первое зданіе въ мірѣ; а Ватиканъ наполненъ внутри чудесными лѣстницами, залами, церквами, наконецъ, заключаеть въ себѣ сады и дворы, устроенные съ величайшей художественной обдуманностью. Какой прекрасный и въ высшей степени правильный разсчетъ! Не есть ли внутренность—настоящая цѣль, главный смыслъ зданія? И что хорошаго, напримѣръ, въ такомъ храмѣ, какъ нашъ Исаакіевскій соборъ, который снаружи красивъ, особенно издали, но внутри не производитъ никакого впечатлѣнія?

Я оставиль Санъ-Мартиио сытый духовно и отчасти растроганный. Передо мною мелькнула минувшая жизнь, которая тутъ оставила не слѣды свои, а полное, законченное выраженіе. Монахи, жившіе въ этомъ монастырѣ, очевидно располагали возможностью устроить себя такъ, какъ только хотѣли, какъ имъ могло вздуматься. Они выбрали самую живописную точку Неаполя и наполнили свое жилище чистымъ какъ снѣгъ мраморомъ. На всякую мелочь они положили печать своего характера, все устроили въ совершенной гармоніи съ духомъ своего благочестія, свѣтлаго, чистаго, радостнаго благочестія. Кто бы ни были эти люди, и каковы бы они пи были въ дѣйствительности, но въ идеѣ они были и хотѣли быть такими, какъ этотъ монастырь.

И что же теперь? Монастырь пусть; онъ-трунъ, сохранившій и красоту и даже выраженіе нъкогда жившаго человъка, но уже не имъющій души, уже беззвучный, холодный, неподвижный. Онъ однако же не только продолжаетъ существо. вать, но получилъ повидимому новое, совершенно определенное отправление, повую жизнь. Для поученія жителей Неаполя и пріфзжихъ иностранцевъ онъ обращенъ въ музей, не просто какъ помѣщеніе, вѣтъ-всѣ его постройки, вся его утварь — обращены сами въ предметы искусства. Церковь и дворъ-это образцы зодчества, алтари и распятія-образцы скульптуры, иконы-образцы живониси. Все получило новый смыслъ и въ качествъ предметовъ, имъющихъ этотъ смыслъ, сберегается, показывается и разсматривается. Сторожа обмахивають пыль можеть быть даже тщательное, чъмъ дълали это монахи, и англичане, приближан лицо къ самому престолу, тонко обсуждають достоинство камней, металловъ и работы. Вирочемъ, къ монастырю, для большей поучительности музея и чтобы утилизировать мёсто, едёланы нёкоторыя прибавленія; въ большой залѣ стонтъ чудовищной величины золотая карета, въ которой кто-то когдато совершаль свой въйздъ въ Неаполь. Есть также съдла совершенно необыкновенныя, и другія подобныя древности.

Черезъ місяць послі моего хожденія въ Санъ-Мартино, я видълъ другой монастырь, несравненно болье знаменитый и точно также обращенный въ предметъ искусства. Это Санъ-Марко во Флоренціи, монастырь Савонаролы и Беато Анжелико. Изъ него также сдёлали музей, обратили его въ хранилище вещей достойныхъ изученія, состоящее, впрочемъ, почти исключительно изъ самаго монастыря. Вамъ показываютъ удивительно-сохранившіяся фрески, которыми расписаны всв ствны монастырскаго двора и изъ которыхъ многія писаны самимъ Анжелико; потомъ ведутъ въ кельикаждая изъ нихъ драгоценность, потому что въ каждой такой крошечной комнать есть фреска, составлявшая когда-то икону для монаха, а теперь составляющая образецъ искусства извъстнаго періода. Наконецъ, сторожъ, въ надежді на десять сантимовъ, предложилъ мнъ отворить стеклянную дверь въ огромную залу, наполненную знаменами всей Италіи, которыя здёсь помёстили не помню какому случаю; къ огорченію его я отказался. Знамена не предметь художества, а эти не были даже предметомъ археологіи-я не хотёль нарушать цёльности своего впечатлёнія.

Церковь Санъ-Марко еще не принадлежитъ къ предметамъ музея: въ ней продолжаетъ совершаться богослужение.

Эти монастыри были для меня однимъ изъсамыхъ поразительныхъ зрѣлищъ въ Италіи. Мнѣ казалось, что туть и вижу на дёлё, на живомъ фактъ-судьбу искусства, тоть законъ, но которому идетъ его исторія. Нікогда искусство было въ тъсной связи съ жизнью, составляло ея органаческую принадлежность; теперь оно совершенно оторвано отъ жизни, не имфеть къ ней прямаго, живаго отношенія, существуєть въ отвлеченномъ видъ. Люди, строившіе монастырь, предполагали вести определенный образъ жизни, посвятить себя извъстнымъ занятіямъ. Для этого строились кельи, переходы, храмы; для этого на ствнахъ писались картины, въ нишахъ ставились статуи; для этого въ известномъ месте ставился органъ, и сочинялись музыкальныя пьесы, имфющія опредфленный смыслъ и исполнявшіяся въ опредёленное время. Словомъ-искусство имѣло полную жизненность.

Нынче все перемѣнилось. Художникъ, точно такъ же какъ писатель и ученый, не имѣютъ нынче ни установившихся цѣлей, ни опредѣлив шейся публики; они не знаютъ, надъ чѣмъ именно слѣдуетъ трудиться и для кого именно они трудятся. Они предоставлены самимъ себѣ, должны въ себѣ самихъ найти свои задачи. И вотъ, художникъ или ученый, ни съ чѣмъ ни связанный, ни чѣмъ не направляемый, создаетъ въ своей комнатѣ

книгу, картину, симфонію, и затъмъ бросаетъ ее въ житейское море, въ темныя волны публики. Твореніе изчезаетъ изъ глазъ своего творца, погружаясь въ эти волны и носясь по всякимъ вътрамъ. Ему нътъ назначеннаго мъста и употребленія. Кто-нибудь, человѣкъ неизвѣстный писателю и художнику, купить книгу и будеть ее читать, запершись въ своемъ кабинетъ, купитъ картину, или статую - и помъстить ее въ своей комнать, въ такомъ углу, на такой стынь, о которой художникъ не знаетъ и даже не думаетъ. Понятно, что у насъ архитектура сама по себъ, живопись сама по себъ, а книги не имъютъ ничего общаго ни съ тою, ни съ другою. И понятно, что искусство должно страдать отъ этого, что оно дробится и понижается. Оно естественно спускается на уровень, на которомъ катятся волны публики. Поэтому вмъсто книгъ являются газеты, журналы; поэтому романъ, картина и статуя все больше и больше склоняются къ жанру. Создается лишь то, что понятно и удобно для отдъльнаго лица, процвътаетъ комнатное искусство, а не искусство соотвътствующее какой нибудь общей жизни, какимъ нибудь идеямъ, стоящимъ выше толны и отдъльныхъ линъ.

И это видно въ Италіи. Нѣтъ конечно страны болѣе богатой произведеніями искусства; она вся

изукрашена ими; ея улицы, площади, дома-часто представляють не просто мъста, удобныя для того, чтобы жить, ходить и вздить, а истинно-художественныя созданія, назначенныя для того, чтобы ихъ созерцать. Бродивши полтора мѣсяца по Венеціи, Неаполю, Риму и Флоренціи, я вынесъ изъ этихъ городовъ такое впечатлѣніе изящества, граціи, пышности, величавости, что Италія, эта бъдная Италія, гдф на первый взглядъ все имфетъ видъ тусклый и изношенный, все покрыто нылью и отчасти грязью, - Италія теперь встаеть передо мною въ какой-то царственной роскоши, о которой нельзя и думать другимъ странамъ. И это внечатлъніе художественности ясно распадается для меня на два отдёла: одинъ разрядъ созданій искусства составляють остатки древняго міра, другой - памятники среднихъ вѣковъ и возрожденія; но нынѣшней красоты, современныхъ произведеній искусства я не видаль, или почти не видаль. Въ тъ прошлыя времена искусство очевидно, жило могучею, великою жизнью, и плоды этой жизни на лицо; какъ оно живетъ нынчетрудно разсмотръть и мудрено сказать.

Чтобы отыскать современное искусство, нужно идти не на форумъ, не въ храмъ или монастырскій дворъ, а въ мастерскія самихъ художниковъ, или на выставки, или накопецъ въ музеи, въ част-

ныя и казенныя галлереи. Это обстоятельство всего лучше показываетъ, что въ наше время художественныя произведенія не им'єють каждое своего мъста, и потому ихъ можно помъстить гдъ угодно, и следовательно поставить въ такое место, которое ни для чего не служить, въ которомъ никто не живетъ и никто ничего не дѣлаетъ. Что такое музей? Это не пом'єщеніе для челов'єка, а пом'єщеніе для вещей, какъ кладовая, какъ мебельная лавка, какъ комната, наполненная коллекціею старинныхъ предметовъ, гдъ жить неудобно уже по самому множеству этихъ предметовъ и потому, что они не приспособлены и даже не годны ни къ какому употребленію. Такъ точно и музыкантъ въ наше время пишетъ симфонію не для того, чтобы она исполнялась въ храмъ во время молитвы, или въ бальной залъ во время танцевъ, или на площади во время деремоніальнаго марша войскъ; нѣтъ-онъ пишетъ ее прямо для концертной залы, то-есть такой залы, въ которую люди сойдутся только за тьмъ, чтобы выслушать его симфонію, и которая ни съ этою симфонією, ни съ чёмъ другимъ не им веть никакого отношенія. И такъ, нын вшнее искусство сдёлалось чрезвычайно отвлеченнымъ, н въ такомъ-то смыслѣ, мнѣ кажется, можно сказать, что именно нынче господствуеть искусство для искисства.

Эти мысли были мнѣ невольно и неотразимо внушены въ Италіи тѣмъ, что я видѣлъ. Много дней я ходилъ по римскимъ и флорентинскимъ галлереямъ, и каждый день съ новою силою чувствовалъ, что передо мною искусство, разорвавшее свою связь съ жизнью; помимо своей воли я становился на точку зрѣнія отвлеченнаго искусства. Чистое искусство, искусство, имѣющее свою цѣль само въ себѣ—вотъ настоящая идея всякой галлереи, всякаго музея, вотъ смыслъ собраній Ватикана, Капитолія, Уффици.

Что же открывають намь эти богатѣйшія въ мірѣ собранія? Въ чемъ состоить сущность искусства, взятаго отрѣшенно? Чему оно насъ учить, къ чему ведеть, зачѣмъ существуеть?

Не буду здѣсь развивать своихъ мыслей, которымъ я такъ удобно предавался вдали отъ всякихъ заботъ, самъ отрѣшившись на время отъ всякой жизни. Лучше я приведу одно мѣсто изъ книги Тэна "Voyage en Italie", которую я тогда читалъ. Это мѣсто поразило меня своею правдою и очень удивило у такого писателя, какъ Тэнъ; можетъ быть и читатели раздѣлятъ мое удивленіе. Отъ 14-го апрѣля 1864 года онъ пишетъ своему пріятелю изъ Флоренціи, послѣ посѣщенія Уффици:

"Что можно сказать объ галлерев, въ которой тысяча триста картинъ? Я, по крайней мврв, от-

казываюсь; читай лучше каталоги, пересмотри эстампы, или, всего лучше, самъ прівзжай сюда. Впечатленія, выносимыя изъ этихъ огромныхъ магазиновъ (это слово, я полагаю, импеть здъсь у Тэна смысль "кладовыхь") слишкомъ разнообразны и слишкомъ многочисленны, чтобы возможно было передать ихъ на письмъ. Замъть, что Уффици составляють общій складь, въ роді Лувра: картины всъхъ временъ и всъхъ школъ, бронзы, статуи, ръзныя работы, терракотты древнія и новыя, ка бинеть дорогихъ камней, этрусскій музей, портреты живописцевъ, писанные ими самими, двадцать восемъ тысячъ оригинальныхъ рисунковъ, четыре тысячи камеевъ и вещей изъ слоновой кости, восемьнесять тысячь медалей. Туда идешь какъ въ библіотеку; туть есть все въ сокращенномъ видъ и въ образцахъ. Прибавь, что кромъ того ходишь въ другія собранія, въ Palazzo Vecchio, въ палаццо Корсини, въ палаццо Питти. Замътки накопляются, но я не нахожу, что можно бы отобрать изъ этой массы. Мнъ кажется, что я пополнилъ, исправилъ, оттънилъ нъкоторыя изъ своихъ прежнихъ понятій; но въдь поправокъ, дополненій, оттънковъ не разсказывають".

"Самое простое — бросить мысль объ изученіи и прогуливаться для своего удовольствія. Подымаешься по большой мраморной л'істниції; прохо-

дишь перель знаменитымь древнимь вепремь; входишь въ длинный корридоръ въ видъ подковы, уставленный бюстами и увъшанный картинами. Около десяти часовъ утра посътители ръдки; молчаливые сторожа стоять въ углахъ; кажется, что ты туть полный хозяинь. Все это твое, и какая чистота и удобство! Приставлены консерваторы и слуги, чтобы тщательно стирать и обмахивать пыль и держать все въ строгомъ порядкѣ и сохранности; все идеть само собою, безъ толчковъ и зацинокъ, безъ всякой нашей заботы; это идеальный мірь, такой, въ какомъ намъ слъдовало бы жить. День прекрасный; свётлыя стекла бросають лучи на далекія білыя статуи, на розовый женскій торсь, который какъ живой выступаеть изъ тъни. Необозримо тянутся ряды мраморныхъ императоровъ и боговъ, вплоть до техъ оконъ, изъ которыхъ видно, какъ Арно движетъ свои мелкія волны, отливающія чернью. Невольно предаешься отчужденію и кроткому спокойствію отвлеченной жизни; воля теряеть свое напряжение, внутренняя тревога утихаеть, чувствуешь, что становишься монахомьсовременнымъ монахомъ. Тутъ, какъ нѣкогда въ монастыряхъ, наше внутреннее нѣжное существо, постоянно подавляемое надобностію дійствовать, понемногу раскрывается и вступаеть въ общение съ образами, освобожденными отъ необходимостей

жизни. Такъ хорошо—несуществовать! Такъ естественно несуществовать! И какъ безмятежно мирно это царство человъческихъ образовъ, изъятыхъ изъ человъческаго водоворота! Чистая мысль, переходя отъ однихъ изъ нихъ къ другимъ, сознаетъ, что ея иллюзія только временная: но она раздъляєть съ ними ихъ безтълесную тишину и ясность, и мечта, возсоздающая ихъ вождельнія и неистовства, даетъ нашей душь пищу, но не возмущаетъ насъ"*).

Этимъ мѣстомъ, исполненнымъ такой глубины и правды, Тэнъ обязанъ своей искренности и той чрезвычайной легкости, съ какою онъ описываетъ всякое, даже мимолетное свое настроеніе, и все даже мелькомъ имъ видѣнное. Но его сочиненіе, взятое въ цѣломъ, также какъ и другія его разсужденія объ искусствѣ, ни мало не согласуются съ приведенными мною словами. Вездѣ онъ смотритъ на искусство не какъ на стремленіе къ ясному царству чистой мысли, а, напротивъ, какъ на выраженіе страстей и желаній каждой эпохи, имѣющее свой смыслъ въ этихъ самыхъ страстяхъ и желаніяхъ.

Въ галлереѣ Уффици этотъ взглядъ оказался неприложимымъ, или лучше, долженъ былъ под-

^{*)} Voyage en Italie, 2-me éd. Paris, 1874. T. II, p. 158-159.

чиниться другому, высшему взгляду. Въ самомъ дѣлѣ, отъ самаго входа тутъ начинаются иконы, чудесныя иконы съ золотымъ фономъ, которыя еще вполнѣ напоминаютъ нашу византійскую живопись, но составляютъ какъ бы полный ея расцвѣтъ. Потомъ вы найдете идоловъ языческихъ храмовъ; потомъ картины и статуи, которыхъ настоящее мѣсто въ комнатахъ красавицы легкаго поведенія, потомъ надгробныя плиты и изваянія, и такъ далѣе. Все это вырвано съ своего настоящаго мѣста, перемѣшано и поставлено передъ вами; иконы здѣсь—не иконы, а просто картины; идолы—не идолы, а просто статуи; и соблазнительныя изображенія также, какъ и всѣ другія, должны быть разсматриваемы только съ точки зрѣнія художества

Какое же чувство должно въ васъ пробудиться, когда передъ вами развернется рядъ такихъ предметовъ? Вы не станете молиться передъ иконами, не станете поклониться идоламъ, не будете сластолюбиво всматриваться въ непристойности. Вы должны почувствовать, что все прямое содержаніе этого необозримаго множества созданій исскуства для васъ не имъетъ и не должно имъть значенія, что васъ не могутъ и не должны трогать ни всъ изображенныя тутъ вожедельнія и неистовства, ни память славы и величія, ни любовь и ненависть, словомъ, никакое жизненное отношеніе, могущее

принадлежать художественнымъ произведеніямъ. Самая древняя статуя, изображающая неизвѣстное божество, о которомъ погибла всякая память, и только-что написанная картина, изображающая вчерашнее событіе, попавши въ эту галлерею, становятся на одну доску, дѣлаются предметами одинаково отвлеченными, имѣютъ смыслъ только предметовъ искусства.

Понятно поэтому, что мы чувствуемъ себя здёсь отрѣшенными отъ времени и мѣста, отрѣшенными отъ дъйствительной жизни. И, если созерцание произведеній искуства, не смотря на то, наполняетъ насъ свътлымъ чувствомъ, если есть какая-то радость въ этомъ созерцаніи, то она не представляетъ ничего общаго съ нашими страстями и желаніями, не заключаеть въ себъ никакого практическаго содержанія. Яркій, рознообразный міръ художественныхъ созданій есть не только міръ идеальный, но даже имъетъ въ себъ нъчто какъ бы отвергающее действительность, враждебное къ ней, такъ что Тэнъ, ходя по галлерев Уффици, справедливо могъ произнести свое парадоксальное восклицаніе: какъ хорошо несуществовать! какъ естественно несуществовать!

29 ноября 1875.

Два письма изъ Рима.

(къ А. Н. Майкову).

I.

Римъ, Via felice. 10 мая (28 anp). 1875.

Вы радуетесь, что я въ Италіи; я самъ до-сихъ поръ считаю это какимъ-то необыкновеннымъ происшествіемъ въ моей жизни. Между тъмъ, я давно долженъ быль бы убъдиться, что это дъло самое простое, ординарное, будничное. Образованные люди считають долгомь осмотръть Италію точно также, какъ, напримъръ, выучиться пофранцузски, имъть понятіе о Шекспиръ и Гёте, послушать Патти, и т. п. Каждый день я вижу, какъ это дёлается; особенно въ Римѣ дѣло это имѣетъ такіе громадные разміры, что передъ моими глазами сперва какъ будто носилось огромное пятно, которое закрывало собою Римъ. Повздъ нашъ былъ маленькій: я прівхаль сюда изъ Неаполя, да и сезонъ Рима уже былъ при концѣ; но мы нашли на станцій такой длиннъйшій рядь омнибусовь, какого я еще нигдѣ не видалъ. Меня привезли въ огромный отель (Hôtel de Russie), который занимаетъ мѣсто, достойное дворца, прилегая къ Мопte Pincio и къ Piazza del popolo. Потомъ я увидѣлъ, что вся половина города къ востоку отъ Сотво усѣяна этими отелями, что ихъ въ Римѣ почти столько же, какъ раlazzo, и скоро будетъ больше. Они щеголяютъ одинъ передъ другимъ роскошью и слегка поддѣлываются подъ видъ дворцовъ.

На другой день, послѣ кофе, мы сѣли въ фаэтоны и повхали смотреть, кажется, Ватиканъ. Говорю въ фаэтоны, потому что такъ называется этотъ самый экипажъ (полуколяска или полудрожки) въ Кіевъ, Полтавъ, Харьковъ. Въ продолженіи дня вы встрътите эти фаэтоны на всъхъ улицахъ, но не думайте, что это Ъздятъ жители города; римляне ходять пѣшкомъ, а ѣздять все иностранцы, все обозрѣватели. Въ каждомъ фаэтонѣ вы непремѣнно увидите книжку, большею частію красную книжку Бэдекера. И затъмъ всюду, въ Ватиканъ, въ Капитолів, въ св. Петрв, въ баняхъ Каракаллы, -- вездѣ вы найдете снующихъ людей, которые заглядывають въ книжки и осматривають. Нъкоорые поступають еще удобнье: они ходять съ живымъ гидомъ, который все имъ показываетъ.

Вы видите, какой я неопытный: я вамъ разска-

зываю то, что всёмъ извёстно, что вы давно знали. Но сообразите, во что же обратилось теперь путешествіе. Въ точномъ смыслѣ слова, вы не ѣдете, а васъ везутъ, и вы не ходите осматривать, а васъ водять. Этоть усовершенствованный, облегченный и упрощенный способъ не разъ наводилъ на меня тоску. Вы садитесь въ Петербургъ въ вагонъ, и черезъ четыре дня вы въ Венеціи-безъ всякихъ приключеній, ничего не видавши, кром в станцій и дебаркадеровъ, ни съ къмъ не познакомившись, кромъ служащихъ при жельзныхъ дорогахъ. Затъмъ, въ нъсколъко дней вы осматриваете всъ достопримъчательности города-по двъ минуты на каждую-и можете убхать, и убзжаете, не взглянувши въ лицо ни одному жителю города, не узнавши ни одной черты его жизни, а узнавши только порядки вашего отеля, да претензіи и замашки его содержателя и прислуги. Я видёль, какъ иные люди входили въ тъ зданія, что-войдешь, и остановишься въ изумленіи, и чувствуется, какъ будто эти своды, колонны, карнизы что-то поють, звучатъ какимъ-то торжественнымъ и непрерывнымъ гимномъ; я видълъ, что иной войдетъ и прямо уткнется въ книжку, отыскивая, что же ему слёдуеть осматривать и чему именно удивляться. Толпа, которая, безпрестанно подновляясь, бродитъ по этимъ музеямъ и развалинамъ, очевидно, равнодушна и даже скучаеть; она точно проходить урокъ изъ ариеметики или географіи. Какая печальная участь—оставаться холоднымъ передъ дивами искусства и природы, смотрѣть во всѣ глаза на сіяющую красоту и ничего не видѣть! Но толпа не чувствуетъ своей бѣды и спокойно проходитъ мимо всего великаго.

Такъ опошлилось это дело, - какъ, впрочемъ, опошливается и все на свътъ. Италія сдълалась теперь общедоступною, Римъ вошелъ во всеобщее употребленіе, какъ иныя популярныя книги, излагающія вкратцѣ сущность наукъ. Но не думаю, чтобы истинное понимание научнаго духа и художественной красоты отъ этого выиграло. Теперь рѣшительно нужно принимать особыя мъры для того, чтобы молодой человькъ могь воспринять какую нибудь истину науки или произведение искусства въ ихъ настоящемъ свёть, съ свёжимъ чувствомъ и вниманіемъ, чтобы онъ не познакомился съ ними заранъе въ искаженномъ, умаленномъ, опошленномъ видъ. Теперь нужно избътать обилія книгъ и предметовъ, нужно умышленно замедлять смфну впечатлфній, не давать имъ скользить по душъ. Какая жалость испортить первое впечатлъніе, которое потомъ такъ трудно изглаживается! Берегитись же скорости жельзныхъ дорогъ и ясности популярныхъ книжекъ!

Въ Варшавъ я столкнулся съ двумя молодыми людьми, здоровыми, красивыми, бойкими, которые ѣхали изъ Москвы. Они объявили мнѣ, что въ шесть недѣль думаютъ осмотрѣть всю Европу. Въ Венеціи я усѣлся на солнцѣ, на площади св. Марка, — вижу, идутъ мои путешественники. "Ну, что?" спросилъ я, и видя, что они чуть-чуть замялись, самъ подсказалъ: "ничего хорошаго?"— "Да", радостно отвѣтили мнѣ, "рѣшительно ничего хорошаго: узкіе закоулки, облупившіеся дома, вездѣ грязь, вонь, — по улицамъ развѣшано бѣлье, мужчины въ самыхъ людныхъ мѣстахъ преспокойно уткнутся себѣ въ уголъ... Что туть хорошаго? Сегодня ѣдемъ въ Римъ!"

И вотъ вамъ очарованіе Венеціи, впечатлѣніе самаго фантастическаго, самаго сказочнаго города въ мірѣ! Ови, очевидно, ждали чего нибудь щеголеватаго, наряднаго, лощенаго, какъ богатый магазинъ на Кузнецкомъ мосту; Венеція, конечно, больше всякаго другаго города могла бы нхъ убѣдить, что красота не въ этомъ состоитъ, но вѣдъ всякій видитъ только то, что умѣетъ видѣтъ. Въ Неаполѣ я опять ихъ встрѣтилъ; они объявили мнѣ, что уже были два дня въ Римѣ, что все осмотрѣли и—ничего хорошаго! Я подумалъ, что желѣзныя дороги, какъ иныя популярныя книги, рѣшительно служатъ къ укрѣпленію невѣжества и къ распространенію предразсудковъ.

Италія, вообще, не им'ветъ никакого лоска, никакой щеголеватости, во-первыхъ по принципу, вовторыхъ по бъдности. Въ безподобныхъ palazzo, осматривая безподобныя картины и статуи, вы ходите по истертымъ кирпичнымъ поламъ, садитесь на затертыя и полинявшія кресла. Въ Рим'в дома и улицы имъють самый простой, и даже грязный видъ; нигдъ невидно желанія принарядить, выровнять и вылощить. Зато на концё улицы вамъ поставленъ обелискъ, который удивительно играетъ на чистомъ небъ и даетъ улицъ не то что красивый, а грандіозный, монументальный видъ. Я не берусь описывать вамъ этихъ впечатленій. Всего труднъе говорить именно объ архитектурныхъ красотахъ, о действін на душу, производимомъ разміврами и формами зданій. Ну какъ разсказать каналы Венеціи, или площадь св. Марка? Я уловляю отчетливо только одну черту — чудесный цвътъ морской воды, наполняющей узкіе проходы между высокими домами. Если бы это была пръсная вода, если бы она не свътилась аквамариномъ, не имъла удивительной прозрачности и вмёстё вполнё опредвленнаго цвъта, эти каналы были бы отвратительны, какъ Мойка или Екатериновка. А о площади я такъ и не скажу ничего. Она играетъ, ноетъ; въ ней есть что-то радостное и фантастическое, какъ будто вся она большой арабескъ. Тоесть, эти линіи выведены безъ цѣли, безъ соотвѣтствія дѣйствительности, не для выраженія чего нибудь, а такъ, ради ихъ собственной красоты.

Іва дня мы бадили по Венеціи, осматривая дворцы и церкви. Уже на первый взглядь она имфетъ видъ не только стариннаго, а стараго, очень стараго города, такого, который давно стоить не подновляясь, безъ поправокъ и новыхъ зданій. Всъ стѣны потускнъли и выцвъли, ступени истерлись. мозанчные полы покривились. Внутри церквей и залъ все разубрано и переполнено произведеніями искусства; цѣлая стѣна вдругъ занята одною картиною масляныхъ красокъ, а потолокъ весь состоить изъ группы пышныхъ золотыхъ рамъ, какъ будто скръиленныхъ перевязями и занятыхъ такими же картинами; нътъ конца гробницамъ и статуямъ. И все это старое, все это остатки минувшей жизни, которой нъть продолженія, которая прервалась навсегда. Но скоро я замѣтилъ еще другое: я почувствоваль странную пустоту въ этомъ старомъ городъ. Сравнительно съ этой массой огромныхъ домовъ, на каналахъ почти нътъ движенія, многія дома пусты и закрыты на-глухо, другіе уже разваливаются. А везді, гді признаки жизни, тамъ навърно и лохмотья, безъ всякой неремоніи выв'єтенныя на солице. Вымирающій го-

родъ! Для меня это было ново и наводило тоску. Туть было когда-то 200 тысячь жителей, богатыхъ, роскошныхъ; они построили эти церкви и дома. Теперь ихъ 125 тысячъ, большею частію бълныхъ, а изъ нихъ 30 тысячъ даже нищихъ: немудрено, что они заняли вчетверо меньше мъста и что Венеція похожа на вымирающій улей съ пустыми сотами. Чувство исчезнувшей жизни, чувство смерти охватило меня въ Венеціи и провожаетъ до сихъ поръ. Римъ, конечно, не вымирающій городъ; онъ даже понемножку подновляется и строится. Но впечатлѣніе еще печальнѣе; этотъ не большой и не пышный городъ выстроился на развалинахъ города баснословнаго, неслыханнаго по своей роскоши и богатству. Нын вшній Римъ заняль собою только уголокь этихъ развалинъ, которыя подавляють его своими размърами; онъ сперва грабилъ эти развалины, а потомъ, опомнившись, сталъ выбирать изъ нихъ кусочки, колонны, обелиски. статуи, и ставить на своихъ улицахъ и площадяхъ, какъ дучшее ихъ украшеніе. Папы, смогшіе построить храмъ св. Петра, считають потомъ своею честью одно сохранение остатковъ древняго Рима и хвалятся этимъ въ надписяхъ, которыя вы найдете подъ каждою колонною и у всякаго не до конца разрушеннаго остатка. Въ одинъ день я видъль базилику Константина, колизей и бани

Каракаллы. Съ тъхъ поръ нынѣшній Римъ мнѣ кажется мелкимъ, не смотря на свою несомнѣнную грандіозность. То, что я узналъ о нынѣшней жизни Рима, о его населеніи и занятіяхъ, не только не ослабило этого чувства, а только усилило.

Но объ этомъ когда-нибудь послѣ. Римъ, какъ вы знаете, безконечно занимателенъ. Погода стоитъ чудесная, даже жаркая. Я цѣлый день брожу; завтракаю въ Саfè greco, какъ Тэнъ, и хотѣлъ бы обѣдать у Leprè, какъ онъ же. Но представьте же мое несчастіе—мѣсяцъ тому назадъ Leprè закрылся: говорятъ обанкрутился. Такъ я и не нашелъ вашего Luigi.

До слъдующаго письма!

II.

Римъ, 18 (6) мая 1875 г.

Знаете ли, мнѣ трудно вырваться изъ Рима, и я откладываю свой отъѣздъ день за днемъ. Очарованіе, о которомъ столько писано и которое въ первые дни, подъ дождемъ и въ хлопотахъ, я только смутно чувствовалъ, наконецъ, возъимѣло полное дѣйствіе. Отели ужь больше не бросаются мнѣ въ глаза, по немногу все заняло свое надлежащее мѣсто, и Римъ сталъ для меня собраніемъ несравненныхъ развалинъ, удивительныхъ

перквей и палаццо, галлерей, наполненныхъ статуями и картинами, и наконецъ кругомъ-виллъ съ чудесною зеленью, съ итальянскими видами, которыхъ прелести я не поминалъ, когда видълъ ихъ на картинахъ. Все это — подъ безоблачнымъ небомъ и подъ яркимъ солнцемъ, дающимъ всему такія яркія краски, что я все любуюсь, любуюсь каждый разъ, когда выхожу на улицу. Я разглядёль, наконець, и народь, - въ немъ два существенныхъ отдела: одинъ-масса бёдняковъ лѣниво и кое-какъ ведущихъ свои промыслы; другой-небольшой кружокъ аристократовъ, влапѣльпевъ виллъ и палаппо. Что они дѣлаютъ, не знаю, но гуляють они усердно; вездѣ, гдѣ хорошо гулять, вы ихъ найдете разряженныхъ, въ вереницѣ блестящихъ экипажей.

Говоря совершенно хладнокровно, —Римъ, конечно, самый занимательный городъ въ мірѣ. Если вы хотите, не то что понять, а видъть, что такое исторія, какой судьбѣ подлежитъ развитіе человѣчества, что такое искусство и какой судьбѣ подлежитъ его исторія, — то ступайте въ Римъ; этотъ городъ какъ будто раскрытая книга, въ которой все это написано. Исторія, какъ извѣстно, раздѣляется на древнюю, среднюю и новую; здѣсь всѣ три на лицо; ни одна не успѣла закрыть собою предъидущую, и вы

можете сравнивать ихъ наглядно. Самый этотъ фактъ поразителенъ въ высшей степени; вы видите ясно, что эти три исторіи не сливаются, не выростають одна изъ другой, не составляютъ взаимнаго продолженія. Три раза Италія достигала въ мір'в значенія, доходящаго до крайнихъ предёловъ величія: эта страна породила Римскую Имперію, потомъ она же породила котоличество, и наконецъ, она же есть мать возрожденія наукъ и искусствъ, того новаго духа умственной жизни, который обновилъ міръ.

И что же изъ всего этого вышло? Чего достигла эта страна, заправлявшая исторією міра? Придите и посмотрите. Я не хочу пускаться въ историческія соображенія, философствовать о судьбѣ народовъ; мнѣ хочется только передать вамъ то чувство, которое возбуждаеть во мнѣ Римъ, то жадное любопытство, съ которымъ я на него смотрель. Кто давно живеть въ Риме, те обыкновенно имъ не занимаются, - не исключая и художниковъ. Здёсь живутъ тысячи художниковъ всёхъ странъ; но мнё говорили, и я вёрю, что Римъ составляетъ для нихъ только удобное мъсто для производства работъ, для полученія заказовъ и продажи своихъ произведеній, но вовсе не школу великихъ образцовъ, не пищу для художественнаго чувства. Школою и пищею Римъ быль во время исевдоклассицизма; теперь-же искусство... Туть не см'ю продолжать; какъ я ни старался, я не могъ уловить ничего опредъленнаго въ томъ, что мнѣ говорили о современномъ направленіи искусства. Не см'єю говорить объ этомъ; только мнѣ все кажется, что никогда еще духовная дъятельность людей не достигала такой разрозненности, отрывочности, какъ въ наше время, время телеграфовъ, желізныхъ дорогъ и неумолкающей работы типографскихъ станковъ. Въ сущности, именно теперь господствуетъ наука для науки, искусство для искусства, - то самое, что, повидимому, такъ преслъдуется и изгоняется. Нынфшняя книга, картина, статуя — есть нѣчто, существующее совершенно отдѣльно, ни къ чему не примыкающее, ни съ чьмъ не связанное. Нътъ такой сферы идей, такого опредъленнаго склада жизни, которымъ бы служиль, которые бы могь развивать ученый и художникъ; по неволъ каждый дълаетъ такъ, чтобы его произведение въ себъ самомъ заключало весь свой смыслъ. Живописецъ не назначаеть своей картины для извъстной ствны; музыкантъ пишетъ музыку не для храма и не для бальной залы, а для какого угодно мѣста, для нъкоторой залы вообще, т. е. концертной; ученый пишеть книгу, не думая о свояхъ читателяхъ, а зао́отясь только объ истинъ, которую, по его мнѣнію, онъ добывать можетъ и одинъ. Такимъ образомъ, всѣ идутъ врозь, каждый сосредоточивается на своемъ осоо́омъ дѣлѣ, не примыкая ни къ какому общему дѣлу. Ученый живетъ для своей науки, художникъ — для своего искусства; отсюда энергическія усилія и пробы; но отсюда же какая-то тоска, какая-то потерянность, которую чувствуютъ глядящіе повыше.

Я, впрочемъ, увлекся: я хотелъ только сказати что къ Риму можно привыкнуть, какъ и ко всему на свътъ, и тогда прійдется только бранить его грязь, неудобство квартиръ и т. д. Сравнительно, хоть бы съ нашимъ пышнымъ Петербургомъ, все завсь жалко и мизерно. Но отъ подобныхъ сопоставленій меня избавляеть то чувство благоговинія къ Западу, которое иногда шевелится во мнв съ необыкновенною силою. Я только второй разъ за границей, и на короткій срокъ, какъ и въ перв..й. И теперь, какъ и тогда, каждый разъ, когда вступаю на священную почву какой нибудь изъ великихъ странъ, въ Эйдкуненъ, въ Марсели, въ Венеціи, я чувствоваль себя варваромъ, пришедшимъ поклоняться святынямъ, которыя съ дътства обожаль. Это иногда — досадное чувство, говорю прямо; невольно чувствуешь не одну радость, но и страхъ, чувствуещь тоть подавляющій авторитеть этихъ странъ, въ силу котораго они господствують надъ нами, держать насъ въ умственномъ плфну. И готовъ возмутиться, дерзко поднять глаза и развязно потребовать доказательствъ на права этой власти, обратиться изъ школьника въ судью. Но это дурное движеніе, вспышка возмущенія и злорадства, скоро проходить. Неужели намъ, русскимъ, нельзя смотрфть на эти чудеса совершенно спокойно, отдавая имъ отъ чистаго сердца всю честь, которой они заслуживають, любуясь и восторгаясь ими безъ всякой посторонней мысли, съ чувствомъ одного благоговенія передъ всты великимъ? Зависть есть черта малодушія, и кажется можно такъ вфрить въ Россію, чтобы ни предъ чемъ не малодушествовать. То нетерпъніе, то недовольство и раздраженіе, которое такъ часто у насъ господствуетъ, есть явленіе поерхностное, не имъющее глубокаго смысла. Когда здёсь, въ Римѣ, вспомнишь о Россіи, кажется, какъ будто она вовсе не имветъ исторіи; все ел прошедшее представляется однообразною полосою простаго роста. Великія бъдствія, которыя она вынесла, созданіе крѣнкаго государства, все это не исторія, все это только явленін самосохраненія; а исторіи какъ будто еще не было. Но что же тутъ печальнаго? Вотъ передо мною римляне, у которыхъ была не одна, а даже три исторіи; кто

же изъ насъ пожелалъ бы съ ними помѣняться? Иные горько жалуются, что цивилизація у насъ не принимается. Въ самомъ дѣлѣ, вотъ скоро два стольтія, какъ она привита къ намъ, а до сихъ поръ ел дъло идеть плохо, и недавно сдълана новая ръшительная попытка поправить это дълозаведены классическія гимназіи. Эти неудачи имъють, по моему, смыслъ нисколько не печальный. Мы усвояемъ изъ цивилизаціи все внышнее, все то, что не касается самаго духа, самой глубины развитія, а только даеть ему просторъ или охраняетъ. Говорятъ, наша артиллерія очень не дурна; жельзныя дороги тоже порядочныя и ихъ уже много; юридическія формы нащего быта въ настоящую минуту довольно широки и свободны, несмотря на нъкоторую путаницу; Петербургъ и Москва у насъ и красивъе, и во многомъ щеголеватье, барственные Берлина и Выны. Но духъ,да, мы не усвоили духа. Петербургь, правда, кричитъ и проповъдуетъ, но въчно ему приходится, и придется до конца, жаловаться на неуспъхъ своей проповъди. На безбрежныхъ равнинахъ, гдъ все глушь и тишина, растеть, плодится и множится безчисленный народъ, который не знаетъ Петербурга и едва умфеть назвать по имени своего Царя. Вотъ мчится повздъ желвзной дороги, который везеть какихъ нибудь удивительно передовыхъ адвокатовъ, педагоговъ, можетъ быть даже составителей прокламацій, и тюки съ книжками петербургскихъ журналовъ. Но отойдите двъ версты въ сторону, и вы попадете въ полнфишее захолустье, въ невозмутимую тишину жизни. При мысли объ этомъ, нетерпъливые люди начипаютъ злобствовать и ругаться. Но за что же, скажите пожалуйста? Пусть ихъ спять, пусть растуть, пусть плодятся и множатся. Можетъ быть они дождутся нѣсколько лучшихъ педагоговъ и лучшихъ журналовъ, чёмъ тѣ, которые вдутъ по железной дороге. Если же случится великая опасность, то они отстоять себя, какъ отстаивали столько разъ. Мы не знаемъ, для чего они такъ берегуть себя; для насъ непонятно то таинственное будущее, изъ-за котораго они такъ мало дорожать своими головами; но вёдь это ужъ наша печаль, а не ихъ.

Вчера мы смотрѣли колизей при лунномъ свѣтѣ. Это удивительно, это неотразимо! Когда глядишь съ самой верхней площадки, то кажется; передъ тобою не разрушенный циркъ, а какой-то цѣлый разрушенный городъ. При слабомъ свѣтѣ глазъ дѣйствуетъ не такъ энергически, и потому не скрадываетъ величины предметовъ, какъ онъ это дѣлаетъ при солнцѣ. Оттого же ночью легче представить себѣ, какъ тутъ кишѣла стотысячная

толпа, праздная, радостная, разряженная. Одинъ изъ моихъ спутниковъ сказалъ, что онъ очень бы желалъ пожить этой жизнью; другой назвалъ такое желаніе безнравственнымъ. Такъ-то такъ, но вѣдь тутъ сказалась законная зависть. Современный человѣкъ такъ бѣденъ, такъ потерянъ, что завидуетъ всякой эпохѣ, богатой жизнью, представляющей огромныя массы народа, участвующія въ общемъ для нихъ дѣлѣ и въ общемъ наслажденіи. Нынѣшнимъ городамъ нельзя и думать поравняться съ древнимъ Римомъ; тогда весь городъ, всѣ его статуи, цирки, колонны, портики были истинной собственностію всѣхъ и для всѣхъ строились; а нынче для каждаго его комната дороже самой роскошной площади.

Сегодня простился съ Ватиканомъ и, проъзжая мимо Пантеона, глубоко вздохнулъ. Не видать ужъ мнѣ этого свода! Я вамъ не разсказываю объ этихъ чудесахъ, да и какъ разсказывать? Для этого нужно бы летучее перо, которое въ недѣлю способно было бы набросать полкниги, и я иногда завидовалъ такимъ перьямъ. Правда, что все проходитъ, но вѣдь не все повторяется.

Крымскія впечатлѣнія.

I.

Недолго я твоихъ небесъ Блистаньемъ синимъ любовался.

Вы непремѣнно хотите, чтобъ я разсказалъ вамъ свои крымскія впечатлѣнія. Позвольте ужъ въ такомъ случаѣ не стѣсняться и начать съ конца. Я вернулся изъ Крыма 31 октября, и знаете ли, что меня всего сильнѣе поразило въ Петербургѣ, что наводило на меня каждый день тоску, и къ чему я не привыкъ вполнѣ и до сихъ поръ? На меня самое жуткое впечатлѣніе сдѣлала та темнота, тѣ непрерывные потемки, въ которые я поналъ и которые — увы! — не проходятъ до сихъ поръ.

Какъ мало свъта! Какое скупое, тощее, тусклое освъщение всъхъ предметовъ! Это не день, а сумерки—дня въ Петербургъ теперь не бываетъ и долго еще не будетъ. Но объ этомъ никто здъсь и не догадывается, и люди живутъ и двигаются, не замѣчая, что они лишены величайшаго наслажденія—дневнаго свѣта.

Вотъ я въ полдень выхожу изъ дому и иду мимо Царицына луга. Какой-то шумъ и крики—это кавалерійскій смотръ. Какіе удивительные кони! И сколько ихъ! Какъ выхолены, какъ лоснится шерсть на нихъ! А что за молодцы на нихъ сидятъ, на подборъ, одинъ лучше другаго! Мѣдные нагрудники чисты какъ стекло, вся эта масса людей плошадей доведена до невѣроятнаго однообразія, такъ чисто отдѣлана и отшлифована, смыкается въ такія правильныя массы, движется такъ стройно!

И что же? Все это великольніе подернуто туманомь; я не могу хорошенько разглядьть дальнихь рядовь. Влестящій золотомь генераль видень мнь какъ тусклая фигура, и голоса команды глухо обрываются въ сыромъ воздухф. Съ тоской отворачиваюсь и иду дальше.

Кажется, солнце? Какъ я обрадовался! Да, да, вонъ видны ярко освъщенные края высокихъ облаковъ; нижнія облака проносятся, видна часть неба, а вотъ часть Михайловскаго замка освътилась лучами солнца. Боже мой, какое разочарованіе! Свъту всетаки нътъ. Въ полдень здъсь солнце свътить такъ, какъ оно тамъ свътитъ при самомъ заходъ, когда край его уже опустился за горы и день скоро погаснетъ. Эти сумерки въ полдень

были невыразимо непріятны, — и я нисколько не жалью, что солнце опять скрылось.

Илу на Невскій. Какіе воротники, бакенбарды! Нагло и самодовольно блистаютъ глаза; съ великой гордостію несуть на себѣ гуляющіе свои безуко ризненныя шляны и щегольскія нальто. Посмотрите на катающихся: экипажи блестять, какъ будто выбхали на Невскій прямо изъ сарая каретнаго мастера; развалившіеся дамы и кавалеры разодёты такъ, какъ будто съ нихъ тотчасъ стануть снимать модныя картинки; кучера имьють совершенно непонятную толщину и бородатость, и каждый править чудесными конями съ такимъ же величіемъ, какъ будто онъ Зевесъ, управляющій міромъ; словомъ, все такъ неестественно, поднято на такія ходули, доведено до такой фантастичности лоска и красокъ, что все вивств могло бы представить картину очень занимательную, очень пеструю и блестящую.

Но что же они дѣлають, несчастные? Всѣ они думають только о томъ, чтобы блистать; какъ же они не замѣчають, что блистать въ этомъ сумракѣ рѣшительно невозможно? Они явились сюда, чтобы себя показать и другихъ посмотрѣть; какъ же не беретъ ихъ досада на то, что въ двадцати шагахъ уже ничего разсмотрѣть нельзя, что Невскій подобенъ въ настоящую минуту рѣкѣ сѣро-

желтаго, грязнаго тумана, по дну которой они изволять ходить и вздить, прибавляя къ этому туману паръ своего дыханія и потъ своихъ лошадей? Какая грязь на землё и въ воздухв! Какъ тускло сіяеть весь этотъ лакъ, шолкъ, золото и шерсть! Въ пяти шагахъ вамъ нужно уже догадываться, что передъ вами нёчто блистательное.

О, тутъ я поняль, что сооственно нравится этимъ господамъ и госпожамъ, какія извращенныя чувства наполняють сердца ихъ заботами и волненіями. Они не о блескѣ хлопочутъ, т. е. не о настоящемъ блескъ-не о томъ, который созданъ Богомъ и источникъ котораго есть солнце; они жаждуть искусственнаго сіянія - того блеска, который создается людьми и находится въ ихъ распоряженіи. Требуется не удовлетвореніе для глазъ, для настоящихъ глазъ, дающихъ намъ радость свъта и зрънія, а нужно поражать и насыщать внутреннее око ихъ душъ, т. е. тщеславіе, которымъ они все измъряютъ и на основаніи котораго они судять о величинь и красоть предметовъ. Петербургъ, вообще, есть городъ субъективный, фантастическій, гдв настоящая жизнь, настоящая природа не имъетъ никакого значенія, - гдъ люди все создають изъ себя, живуть своими внутренними ощущеніями и мыслями, и не хотять знать д'єйствительности.

Не мудрено: свъту мало!

Ночь въ Петербургъ лучте. По крайней мъръ не видишь, что темно, - т. е. я хотълъ сказать, ночью уже не смотришь и ничего не ищешь глазами, поэтому не замѣчаешь отсутствія звѣздъ, луны, того очарованія, которое имбеть въ южной ночи всякій лучь свѣта, какъ бы онъ слабъ ни быль. По крайней мфрф темнота въ Петербургф настоящая, т. е. черная. Но вотъ прівхала Царицаи зажгли иллюминацію. Да, это не дурно! Въ первый разъ тоскующіе глаза мон иснытали нфкоторое наслажденіе, доставляемое світомъ. Горящій газъ даетъ очень красивый свѣтъ; особенно хороши его полосы по линіямъ оконъ и арокъ. Идя мимо Штанге и Кумберга, уставившихъ свои громадныя окна сплошь зажженными лампами, я живо почувствоваль, что значить для петербуржцевь яркое и красивое вечернее освъщение. Петербургъ живетъ собственно замою и ночью. Тутъ-то онъ развертываетъ свой настоящій блескъ, туть нолучаетъ настоящее свое значение все то, что не имбеть смысла при дневномъ свъть и что въ немъ не нуждается. Комнаты сухи, теплы, богато убраны и ярко освъщены; вотъ настоящій часъ и мъсто жизни петербуржцевъ. Что имъ за дъло до солнца и природы? Весь міръ для нихъ не существуетьи всь эти степи, ръки, моря совершенно естестьенно кажутся имъ излишнимъ украшеніемъ міра, безъ котораго они могутъ прожить самымъ благополучнымъ образомъ. Тутъ развиваются иныя страсти и наполняють душу другія желанія...

Не бойтесь однако же! Я не буду увлекаться этими широкими темами, и оставляю про себя дальнѣйшім правоученія и соображенія, которыя приходять мнѣ теперь на мысль. Вамъ я хотѣлъ сказать только одно: главнѣйшая прелесть южныхъ странъ заключается, по моему мнѣнію, именно въ обиліи свѣта и въ чистотѣ воздуха, въ силу которой тамъ можно видѣть ясно и далеко. Изъ поѣздки въ Крымъ я вынесъ то-же впечатлѣніе и въ сильнѣйшей степени.

Что такое прекрасный видъ? Форма и цвѣтъ— суть два существенныя качества видимыхъ вещей. О формѣ и порядкѣ вещей я не стану говорить; это предметъ сложный. Но что касается до цвѣта, то можно вообще сказать, что цвѣтъ какихъ-оы то ни было предметовъ всегда бываетъ прекрасный, когда мы видимъ ихъ издали. Давно замѣчено, что нашъ подлунный міръ раскрашенъ очень неъдурно: напримѣръ, небо голубое, трава и листья зеленые. Я хочу прибавить къ этому, что, по свойству воздуха, всѣ предметы, видимые на очень далекомъ разстояніи, получаютъ цвѣтъ необыкновенно пріятный для глазъ. Какого-бы цвѣта ни

была гора (хотя-бы *табачнаго*, который Карлейлемъ считается хуже всѣхъ другихъ), цвѣтъ этотъ становится тѣмъ мягче, тѣмъ больше ласкаетъ глаза, чѣмъ дальше мы отойдемъ отъ горы. При очень ясномъ освѣщеніи и при чистомъ воздухѣ большія горы можно видѣть очень издалека, и тогда онѣ являются въ окраскѣ невыразимо очаровательной. Цвѣтъ ихъ въ одно время и нѣженъ и совершенно ясенъ, такъ что, наконецъ, они кажутся вамъ громадами подкрашеннаго стекла, или кованнаго серебра. И въ этомъ, по моему, заключается одна изъ главныхъ прелестей большихъ горъ.

Что касается до луны и звѣздъ, то всѣ согласны, что они свѣтятъ очень красиво (и все, конечно, благодаря ихъ большому разстоянію); въ южныхъ странахъ свѣтъ этотъ имѣетъ большую силу и большую ясность. Луна тамъ дѣйствительно золо-тая и звѣзды тоже золотыя — выраженія очень неправильно употребляемыя иногда относительно петербургской луны и петербургскихъ звѣздъ. Здѣсь въ Петербургѣ луна и звѣзды (когда онѣ вполнѣ видым, то есть зимой, въ очень рѣдкія ясныя ночи) имѣютъ бѣловатый, лазурный, ледяной оттѣнокъ; звѣзды здѣсь не свѣтятъ золотомъ, а мерцаютъ льдомъ и всего скорѣе похожи на сверкающія снѣжинки, которыхъ никто не называетъ золотыми

И воть, я прожиль мѣсяць въ этой чудесной сторонѣ, гдѣ каждый взглядъ обнимаетъ далекіе предметы, гдѣ стоятъ горы, гдѣ движется море, гдѣ днемъ все залито яркимъ солнцемъ, а ночью по небу ходитъ золотая луна и золотыя звѣзды, гдѣ все такъ чисто, такъ ясно и отчетливо рисуется въ глазахъ, гдѣ вндѣть и дышать—наслажденіе. Подъ конецъ я началъ привыкать ко всей этой прелести и, бродя по крутымъ тропинкамъ, начиналъ укорять себя въ разсѣянности; какъ это я забылъ, думалъ я, взглянутъ на горы или на море въ этомъ уголку, куда я зашелъ въ первый разъ?

Я только что начиналь привыкать, какъ пришлось увхать. Вхалъ я десять дней, но дорогой, среди хлопотъ и думъ, я не испыталъ живаго чувства перемвны. Когда же я прівхалъ сюда, когда все улеглось, и потекли равномврно сумрачные дни и тусклыя ночи, безъ ясныхъ зорь, безъ яркаго солнца, безъ всякаго простора, по которому можно было-бы простирать взглядъ, безъ всякой краски, могущей потвшить глазъ,—тогда мив стало очень жутко.

II.

Знаете-ли вы, что такое "южный берегъ Крыма"? Если вы воображаете только, что это *берег*ь, т. е. граница, на которой открывается море со всею его чудесною жизнью, и что этоть берегь находится на юго, на самомь южномь, слёдовательно на самомь свётломь и тепломь краю Крыма,—то вы все-таки не имѣете никакого понятія объ этомь удивительномь мѣстѣ. "Южный берегъ" — мѣсто совершенно особенное; его очарованія зависять оть совершенно исключительных условій, въ которыхь тамь дѣйствують свѣть, воздухь и вода.

Все дъло въ расположении горныхъ массъ. Представьте себъ, что на берегу, который идеть отъ востока къ западу, на самой линіи берега, граничащей съ моремъ, стоятъ непрерывнымъ хребтомъ горы вышиною въ три, въ четыре тысячи футовъ Къ съверу, т. е. къ сушъ, эти горы имъють склонъ очень покатый, дають постепено понижающіеся отроги. Но къ югу, т. е. къ морю, хребетъ обрывается почти вертикально, образуеть не склопъ, а стфну изъ сплошныхъ скалъ, до того близкихъ къ отв'єсному положенію, что на нихъ не можетъ удержаться ни горсти земли, не можеть застрянуть и прорости никакое сфия, и потому нфтъ никакой растительности. Голыя отвёсныя скалы въ нѣсколько тысячъ футовъ! Если бы вы знали какъ это красиво! Какая легкость, какой полеть къ верху въ этихъ каменныхъ массахъ!

Если бы эта стѣна скалъ была открыта до самаго подножія и опускалась бы своимъ подножіемъ въ море, то и видѣть ее можно было-бы развѣ только съ корабля; тогда на Южный Берегъ было бы невозможно выйти—и собственно не было бы того, что мы называетъ теперь "Южнымъ Берегомъ". Вѣроятно, такъ и было когда-то, или покрайней мѣрѣ дѣло когда-то было ближе къ такому положенію, чѣмъ теперь.

Но представьте себъ, что стъна скалъ понемногу осыпалась и кое-гдф разрушилась. Острые края по м'встамъ оборвались, откололись громадные вертикальные пласты, съ грохотомъ упали къ подножію и разбились на части; вода, просачиваясь и размывая, раздробила ихъ еще больше и обратила наконецъ въ песокъ и глину. Такимъ образомъ, подножіе стѣны было закрыто ея обломками, образовалась насыпь, которая отдёлила собою стѣну отъ моря. Насыпь эта представляетъ узкую полосу земли, круто спускающуюся къ морю, и на верху, у стѣны, усѣянную крупными оборвавшимися камнями, а чёмъ ближе къ морю, тёмъ болье мягкую, и наконецъ состоящую изъ совершенно мелкихъ частицъ. На этой узкой полосъ уже могли укрѣпиться растенія; она роскошно покрыта травами и деревьями, и она-то и есть "Южный Берегъ Крыма".

Теперь сообразите, въ какихъ благопріятныхъ условіяхъ находится эта полоса относительно свѣта

и тепла. Съ съвера она отръзана и защищена своею громадною стъною. Слъдовательно, ея температура зависить только отъ тёхъ вліяній, которыя идуть съ юга. А съ юга у ней солнце и море. Если свътлый день, то для Южнаго Берега не пронадаетъ ни одного луча солнца, которое весь свой путь проходить надъ открытымъ моремъ, — и все тепло, приносимое этими лучами, сохраняется подъ защитою каменной ограды. Но еще важное то, что воздухъ этой узкой полоски въ своей влажности и своемъ теплѣ вполнѣ зависитъ отъ моря. отъ этой громадной массы воды, которая зимою грветъ, а лвтомъ холодитъ. Воздухъ тутъ болве морской, чёмъ на всякомъ другомъ морскомъ берегу. Такъ какъ море вообще сохраняетъ на значительныхъ разстояніяхъ одинаковую температуру, то безъ всякаго преувеличенія можно сказать, что это тотъ же воздухъ, какъ въ Константинополъ, или въ Малой Азіи, - и даже еще лучшій, потому что холодные потоки воздуха, все-таки достигающие съверныхъ береговъ Малой Азіи, не всегда попадають на нашь "Южный Берегь"; переносясь черезъ ствну его скалъ, они должны пролетать надъ нимъ.

Вотъ какой это удивительный уголокъ; вотъ отчего зависитъ прелесть его климата и растительности. Между "Южнымъ Берегомъ" и осталь-

нымъ Крымомъ разница громадная,—можно даже точно опредѣлить: такая же какъ между Петербургомъ и Крымомъ. Если не опибаюсь, цифры говорятъ слѣдующее: въ Петербургѣ средняя температура года 3½° по Реомюру; въ Симферополѣ, т. е. въ самомъ Крыму, въ двухъ-трехъ десяткахъ верстъ отъ Южнаго Берега 7°; на Южномъ Берегу 10½°. Слѣдовательно, если мы переѣдемъ изъ Петербурга въ Симферополь, перемѣна въ климатѣ будетъ точно такая же, какъ если переѣдемъ изъ Симферополя на Южный Берегъ.

И такъ, Южный Берегъ-это уголокъ другаго міра, полоска жаркаго климата, занесенная въ климать умфренный, - оазись тепла и пышной растительности, окруженный природою гораздо менже роскошною, сравнительно — даже суровою. Была минута, когда и это не толькъ понялъ и почувствоваль, а увидель такъ же ясно, какъ на такой географической картъ, на которой климаты былибы обозначены разными красками. 21-го октября, я простился наконецъ съ моими чудесными хозяевами. Когда я поднялся до Байдарскихъ воротъ т. е. до того пролома въ стѣнѣ, черезъ который сообщается Южный Берегъ съ остальнымъ Крымомъ, - я велълъ ямщику остановиться и сошелъ съ телѣжки. Тутъ, со стѣны, на разстояніи нѣсколькихъ шаговъ открывались двѣ картины. Съ

одной стороны быль Южный Берегь, еще весь зеленый, нокрытый деревьями, на которыхъ едва начали желтъть листья. Я зналъ, что тамъ еще нвътуть розы, и только что распустились многіе осенніе цвъты. Съ другой стороны была Байдарская долина, одно изъ прекраснъйшихъ мъстъ Крыма, еще недавно походившая на огромный садъ, разбитый въ живописной гористой мъстности. Теперь эта долина открывалась мит голая и печальная. Деревья стояли безъ листьевъ, и дулъ холодный съверный вътеръ. Пока я ъхаль отъ Байдаръ до Балаклавы, наступила ночь, и я увидѣлъ "Большую Медвѣдицу", созвѣздіе, котораго за стѣною горъ не видалъ все время, проведенное мною на Южномъ Берегу. Даже и въ этомъ отношеніи можно было сказать, что надо мною уже были другія небеса.

Вслѣдствіе того устройства, которое я описаль, Южный Берегъ имѣетъ какой-то особенный, свѣтлый, праздничный характеръ. Тамъ все обращено къ югу, все смотритъ на югъ, все стремится къ югу. Деревья, какъ извѣстно, вездѣ даютъ на югъ больше листьевъ и вѣтвей; но на Южномъ Берегу нѣчто подобное происходитъ и съ домами и съ людьми. Всѣ фасады домовъ обращены на югъ. Небольшіе домики и хижины татаръ обыкновенно строются даже такъ, что сзади, т. е. на сѣверъ

у нихъ нѣтъ оконъ. Такъ какъ вся мѣстность представляетъ крутой скатъ къ морю, то задняя стѣна домовъ часто до верху врѣзывается въ землю, а если и подымается надъ землею, то въ ней всетаки не дѣлается оконъ; эти окна не давали бы ни свѣта, ни вида.

Какъ дома и деревья, такъ и люди здѣсь постоянно обращены лицомъ на югъ. На югѣ—далеко открывающійся видъ, просторъ, всегда притягивающій къ себѣ человѣческіе глаза; на югѣ вѣчно ходятъ корабли, вѣчная дѣятельность человѣка, невольно приковывающая вниманіе жителя пустыни; на югѣ—море, съ его бурунами и прозрачными волнами, въ которыхъ можно купаться; на югѣ — виноградники и смоковницы и цвѣты; чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ меньше камней, тѣмъ мягче почва, тѣмъ укромнѣе, теплѣе, живописнѣе уголки, тѣмъ успѣшнѣе растутъ всякія благодатныя травы и деревья. И вотъ почему всѣ лица обращены на югъ.

А какой воздухъ! Въ немъ нѣтъ избытка ни влажности, ни сухости, и не слыхать смѣшенія токовъ разнаго свойства. Октябрь стоялъ чудесный. Днемъ термометръ показывалъ 15—16 градусовъ. Въ сумерки, пока еще можно было видѣть, я подходилъ къ термометру, повѣшенному на сучокъ кипариса, и находилъ 13 градусовъ. И вотъ что

меня восхищало безъ мѣры: въ какой бы часъ ночи я потомъ ни подходилъ къ термометру, при огнъ спички я всегда находилъ все тъже 13 градусовъ. Такъ продолжалось весь мѣсяцъ, почти безъ исключенія! Эти теплыя темныя ночи представляли прелесть невообразимую. Ни тъни сырости, ни единой холодной струйки въ воздухъ! Броди по саду, сколько хочешь; трава также суха, какъ днемъ; садись, гдъ вздумается, прямо на землю. Всв лощинки проникнуты тепломъ, всюду такой же чистый, прозрачный, ласкающій воздухъ. Я не могъ вспомнить безъ отвращения о сырыхъ петербургскихъ ночахъ, сырыхъ даже въ самые ясные и длинные іюльскіе дни, о петербургскихъ зефирахъ, всегда подбитыхъ холодкомъ. На Южномъ Берегу мит было раздолье. Много часовъ и въ лунныя и въ безлунныя ночи я пробродилъ по огромному, старинному, заросшему саду Мшатки. Тишина, пустыня. Садъ спускается къ самому морю, которое одно шумитъ, не умолкая ни днемъ, ни ночью. Безмолвно стоятъ громады горъ. Изръдка звонко раздастся стрекотанье кузнечиковъ или залепечутъ дистья.

Часу въ десятомъ (мы ложились обыкновенно въ десять часовъ) и взбирался, наконецъ, къ освѣ-щенному домику, гдѣ въ комнатѣ съ настежъ отворенными окнами ждали меня ужинать. Однажды

когда я пытался выразить все удовольствіе, которое испытываю, мой милый хозяинъ замѣтилъ:

"Какъ вы подробно восхищаетесь"!

Это мит очень понравилось; я дъйствительно подробно восхищался Южнымъ Берегомъ — и нахожу, что онъ вполит достоинъ такого восхищения.

20 ноября 1869 г.

(Продолженія не было).

Ночь на Днѣпрѣ.

Картина Куинджи.

Позвольте сказать нёсколько словь о картинё Куинджи. Моя замътка очень опоздала; но тъ, кто видёль Ночь на Диъпръ, конечно не могли ее забыть, а для тёхъ, кто не видалъ, можетъ быть интересны будуть некоторые общія разсужденія объ искусствъ. По моему мньнію, объ искусствъ слишкомъ мало разсуждають, слишкомъ мало пишутъ серіозно. Искусство занимаетъ въ нашей такъ называемой образованной жизни огромное мъсто; оно есть постоянная, незамёнимая принадлежность этой жизни, поглошающая значительную долю ея времени. Но, къ сожалънію, эта значительная роль принадлежить искусству не въ силу его настоящаго, серіозваго содержанія, а почти исключительно потому, что искусство не только есть доло, а вмёстё и забава и роскошь. Публика ищеть въ немъ провожденія времени, или пищи для своего тщеславія. Съ тѣхъ поръ, какъ упало обществен122 ночь

ное искусство, искусство для храма и города, художественныя произведенія должны искать себъ опоры во вкусахъ частныхъ лицъ. Они стали частнымъ дёломъ, свободнымъ отъ всякихъ опредёленныхъ цёлей и указаній. Искусство, поэтому, разлилось и расширилось въ массъ, въ толпъ, удовлетворяя ея требованіямъ, и получило, повидимому, и большій объемъ, и большее значение въ жизни, чъмъ прежде. Но въ этомъ нельзя еще видъть существеннаго успъха для самаго искусства. Для него открылась такимъ образомъ возможность и опасность всякаго рода паденій и искаженій, покровительствуемыхъ вкусами публики. Музыка нынъ процвътаетъ потому, что она есть принадлежность всякаго увеселенія, даже самаго гадкаго. А если мы подумаемъ, что въ каждомъ домъ есть фортепіано и въ каждой семь в учатся музык в, а между тымь настоящее понимание и исполнение музыки есть величайшая редкость, то увидимъ, какъ много значитъ въ этомъ деле мода, тщеславіе и обезьянство. Точно такъ, живописцы множатся и процветаютъ главнымъ образомъ потому, что множатся и накопляются богатства, а главной роскопню богатаго дома считаются картины. Изъ тщеславія, всѣ кто побогаче заводять себъ эту роскошь, истинная же любовь къ живописи есть очень ръдкое качество.

Конечно, и во всёхъ этихъ случаяхъ, и даже

во всъхъ своихъ искаженіяхъ и паденіяхъ, искусство все еще сохраняеть нѣкоторое благотворное дъйствіе, зависящее отъ того высокаго принципа, который лежить въ его основаніи. Но діло шло бы гораздо лучше, если бы при этомъ масса публики обладала и какимъ нибудь сознательнымъ понятіемъ о сущности своихъ ежедневныхъ удовольствій и развлеченій, если бы она им'йла возможность вносить въ нихъ серіозную мысль. Картина Куинджи, имъвшая такой успъхъ и представляющая такое яркое и витстт простое явленіе, невольно наводить, какъ намъ думается, на замъчанія, касающіяся именно самыхъ первыхъ началъ искусства и наслажденія искусствомъ, и вотъ почему мы позволимъ себѣ высказать нѣкоторыя мысли объ этой картинв.

Ночь на Дивпры—высоко замѣчательное явленіе. Въ области ландшафта это самый крайній, самый пышный цвѣтокъ нашей реалистической школы, точно такъ, какъ подобнымъ цвѣткомъ реализма въ другой области живописи мы готовы считать Протодъякона г. Рѣпина. Нашъ реализмъ, столь сродный правдивой и простой русской натурѣ, встрѣчающій у насъ всегда горячее сочувствіе, процвѣтаетъ все больше и больше, и производитъ чудеса. Картина г. Куинджи истинное чудо. Подобнаго владѣнія красками, какъ въ этой кар-

тинъ, даже въ предъпдущихъ произведеніяхъ тогоже художника еще не было видано. И лунный, и солнечный свётъ у него является съ такою яркостію и чистотою, которыя оставляють далеко за собою картины прежнихъ мастеровъ. Онъ какъ будто пишетъ совершенно другими красками и, намъ кажется, долженъ произвести въ этомъ отношеніи рішительный перевороть въ живописи. До него не знали, что лунный свъть и ночное небо им вють зеленоватый оттвнокь, и не знали должно быть другихъ подобныхъ тайнъ, отгадка которыхъ дала ему эту удивительную яркость и естественность освъщенія. Такъ въ Ночи на Дивпри небо на протяженіи между луною и горизонтомъ представляетъ оттънки, схваченные съ изумительною върностію; не въришь глазамъ, что можно было написать такую неуловимую вещь. Невыразимо хорошъ также мракъ, обступающій съ боковъ свътлую группу луны, облаковъ и освъщенной ръки. И много другаго истинно восхитительнаго можно найти въ этой картинъ.

И однакоже, всѣ, кто видѣлъ картину, я думаю, чувствовали хоть маленькую тѣнь какого-то недовольства или недоумѣнія. Въ картинѣ есть чтото рѣзкое, что-то бросающееся въ глаза, неотвязно напрашивающееся на вниманіе и мѣшающее любоваться всѣми ея прелестями. Дѣло похоже на

то, какъ если бы вы любовались прекраснымъ портретомъ, но вамъ постоянно казалось бы, что волосы на немъ не нарисованы, а наклеены натуральные. Повидимому, чёмъ естественнёе, тёмъ лучше; но, однако, наклеенные волосы портили бы вамъ портретъ, а слѣдовательно вамъ испортили бы его и нарисованные волосы, если бы вы не могли ихъ отличить отъ наклеенныхъ. Такъ и тутъ. Свъть луны слишкомъ натуралень, слишкомъ бросается въ глаза своею натуральностію и этимъ портитъ гармонію картины. Наприміръ, передній планъ, чудесно написанный, по необходимости вышелъ гораздо темиве, чвмъ следуетъ при полномъ лунномъ освъщени, и нужно всматриваться, чтобы видъть, что весь онъ залитъ яркимъ луннымъ свътомъ. Вотъ какая бъда случилась съ художникомъ. Стараясь поддёлаться подъ природу своими слабыми средствами (красками и полотномъ), онъ долженъ былъ пожертвовать однимъ, чтобы върнъе было другое.

Но можно сказать еще больше. Какъ ни ярки луна, облака и освъщенная ръка, все таки и въ этомъ отношеніи, въ отношеніи освъщенія, картина, разумъется, не успъла вполнъ поддълаться подъ дъйствительность. Всъ, кто видълъ, съ перваго же разу замътили другое сходство, сходство такое разительное, что многіе не хотъли върить,

126 ночь

что передъ ними настоящая картина, писанная масляными красками. "Это писано на стеклѣ и освѣщено сзади!" Таково общее впечатлѣніе, и дѣйствительно, стоя передъ картиной, невозможно было ничѣмъ убѣдиться въ различіи. Обманъ совершенный!

И такъ, вотъ что сдълалъ художникъ. Его картина сходна до обмана не съ природою, а съ картиною, писанною на стеклъ и освъщенною сзади. Разница большая. Очевидно, впечатлѣніе полотна, той плоскости, на которой писана картина, онъ не только не уничтожилъ, а напротивъ принужденъ былъ несколько усилить. Ему нужна была рёзкость контуровъ и яркость красокъ, мёшающая воздушной перспективъ. Какая жалость! Такія удивительныя старанія, такая безпримфрная чуткость къ свъту и цвъту потрачены на то, чтобы картину на полотит сделать какъ двъ капли воды похожею на картину писанную на стеклѣ! Результать конечно безпримърный, истинное диво техники, но въдь художникъ не того хотълъ, -онъ хотълъ, чтобы мы видъли природу, а не стекло. Стремленіе къ реализму сбило его съ пути и завело туда, куда онъ вовсе не шелъ. Картины на стеклѣ имѣютъ свои достоинства, но не даромъ живопись масляными красками на полотнъ предпочитается: она всего свободиве, она богаче

средствами. И потому странно, что высшій родъ живописи вдругъ произвель подражаніе низшему. Что было бы хорошаго, еслибъ масляными красками написать картину, которая какъ двѣ капли воды походила бы на нарисованную карандатомъ?

И выводъ изъ всего одинъ: реализмъ напрасно накладываеть на себя всякаго рода путы, стремясь то съ той, то съ другой стороны подделаться подъ природу. Такая поддёлка всегда бываетъ неудачнымъ усиліемъ, часто смѣшнымъ напряженіемъ достигнуть невозможнаго, и всегда нарушаетъ строй цѣлаго произведенія. Искусство должно быть свободнъе. Правда внутренняя — вотъ чего долженъ добиваться реализмъ, а не гоняться исключительно за внѣшней правдой. По нашему общему расположенію къ реализму, мы очень часто грешимъ въ этомъ отношении. Признается почти за общее правило, что чемъ натуральнее темъ лучше, что натуральностію (хотя бы только въ частяхъ, въ отдъльныхъ подробностяхъ) ничего не испортишь. Отсюда и у нашихъ романистовъ мъстами чрезвычайная, напряженная дробность описаній. Мы даже уже вполив привыкли къ ней и не замъчаемъ, какъ теряется свобода, живость и ясность разсказа, какъ онъ становится совершенно неестественнымъ. Но то, что еще тернимо въ словесномъ искусствъ, самомъ широкомъ и 128 ночь

вольномъ въ своихъ пріемахъ, то совершенно нетерпимо въ другихъ искусствахъ, связанныхъ болье тъсными условіями.

Натуральность всегда выгодна, всегда беретъ свое, нотому что она ничего не требуетъ отъ зрителя; нри ней можно вовсе обойтись безъ той художественной работы, которая должна совершаться въ зрителѣ и безъ которой невозможно никакое наслажденіе искусствомъ. Толна, ломившаяся въ залу, гдъ стояла картина г. Куинджи, большею частію уходила изъ этой залы конечно съ однимъ физическимъ впечатлѣніемъ, съ которымъ не было соединено ничего художественнаго; за то ужъ физическое впечатлѣніе не миновало ни одного человѣка. Спрашивается, ужели такимъ результатомъ, такимъ успѣхомъ можетъ быть доволенъ художникъ? Ужели ему не хотѣлось ударить по другимъ, болѣе глубокимъ струнамъ?

А зрители, конечно, рады. Они всегда бросаются на то, гдѣ не требуется душевной работы, гдѣ довольно глазъ и ушей, чтобы нолучить занимательное впечатлѣніе, и, что всего грустнѣе, многіе вовсе не подозрѣваютъ, чтобы еще что нибудь было нужно. Въ сущности, между художествомъ и его постоянными потребителями (позвольте такъ выразиться) существуетъ жестокое и повальное недоразумѣніе, которое на тысячу ладовъ разъигрывается предъ каждой картиной, на каждой выставкъ, на каждомъ концертъ и театральномъ представленіи. Ежедневно съ утра до вечера происходитъ тутъ чистая игра въ жмурки. Художникъ не видитъ своей публики и безпрестанно съ усердіемъ бъетъ по тому мъсту, гдъ совершенно пусто; зритель или слушатель не видитъ того, что развертываетъ передъ нимъ художникъ, и безпрестанно старается что нибудь поймать, хватается за что понало, но только не за то, что ему даютъ. Зрълище въ сущности очень комическое, а если немножко долго, то и утомительное. Понятно, отчего, замътивъ приближеніе конца, зритель не безъ удовольствія торопится уйти, недосмотръвъ и недослушавъ.

Ну что-жь! Въдь это лишь забава, и нъсколько времени убито безъ особой скуки.

29 ноября 1881.

A special material, para the secret operation of the secret operation of the secret operation of the secret operation of the secret operation, and the secret operation of the secret operation op

Толки объ Л. Н. Толстомъ.

По плодамъ ихъ вы узнаете ихъ.

Толки объ Л. Н. Толстомъ продолжаются. На чались эти толки уже давно, льтъ десять или двенадцать назадъ, вскоре после окончанія Анны Карениной; они быстро усилились и потомъ стали постояннымъ, непрерывнымъ явленіемъ. Мы къ нимъ даже совершенно привыкли и уже не замъчаемъ, какъ много тутъ удивительнаго, ничуть не думаемъ, что передъ нами, можетъ быть, происходить событіе величайшей важности. Припомнимъ, когда же бывало что нибудь подобное? Малейшія извъстія о томъ, что пишется и какъ живется въ Ясной Полянъ, газеты помъщаютъ наравнъ съ наилучшими лакоиствами, какими онъ угощають своихъ читателей, т. е. наравнъ съ политическими новостями, съ пожарами и землетрясеніями, скандалами и самоубійствами. И мы потомъ ежедневно треплемъ своими языками имя знаменитаго писателя съ неменьшимъ усердіемъ, и обыкновенно съ такимъ же хладнокровіемъ, какъ имена Бисмарка или Вильгельма II. Но мы знаемъ, на этой болтовиѣ дѣло не останавливается. У многихъ, особенно у молодыхъ людей, на Л. Н. Толстаго устремленно серіозное, душевное вниманіе.

И это не у насъ только дома. Извъстность Л. Н. Толстаго стала истинно всемірною; о немъ пишутъ и за нимъ следять во всехъ образованныхъ странахъ. Каждая его новая повъсть сейчасъ переводится на разные языки, каждая театральная піеса ставится на сцень, переводится каждая страница даже старыхъ неконченныхъ рукописей, какъ нубудь попавшая въ руки ревностныхъ почитателей, переводятся и чужія разсужденія, которыя онъ одобриль и спабдиль своимъ предисловіемъ. И это д'влается никакъ не по одной усилившейся фабрикаціи празднаго чтенія. Во Франціи, въ Германіи, въ Англіи, въ Америкъ,вездъ писанія Л. Н. Толстаго возбуждають живъйшія интересь, порождають толки и споры. Можетъ быть, со временъ Вольтера не было писателя, который производиль бы такое сильное дъйствіе на своихъ современниковъ.

Тутъ есть чему подивиться и о чемъ задуматься. Правда, бываетъ слава фальшивая, бываютъ всесвѣтно громкія имена, которыя потомъ забываются; но обыкновенно человѣчество не ошибается въ своей любви и въ своемъ удивленіи. Упорно и неотвратимо привязываются умы къ тому имени, подъ которымъ имъ почуялось истинное величіе, явился предметъ достойный истиннаго поклоненія. Вотъ почему поэтъ такъ рѣшительно сказалъ:

И намъ ужъ то чело священно, Надъ коимъ вспыхнулъ сей языкъ.

Славное имя всегда есть любопытная задача для нашихъ мыслей. Иногда въ прославленіи обнаруживается только настроеніе читателей и зрителей, создающихъ себѣ кумиръ по своему вкусу; но обыкновенно даже сумазбродный энтузіазмъ, даже фанатическое гоненіе или превознесеніе какого нибудь человѣка имѣютъ свое основаніе въ самомъ этомъ человѣкѣ и его дѣятельности. Если мы станемъ старательно вникать въ дѣло, мы почти всегда откроемъ въ немъ важный вопросъ, глубокій поворотъ умовъ, или обнаруженіе душевныхъ силъ, далеко превосходящихъ обыкновенную мѣру.

I.

Единый духъ во всей дѣятельности.

Отчего такъ знаменитъ Л. Н. Толстой? На этотъ вопросъ многіе сейчасъ такъ отвѣтятъ: оттого, что онъ написалъ геніальныя художественныя произведенія, Войну и миръ, Анну Каренину. Это настоящая причина его извѣстности; безъ этого ни-

кто не обратиль бы вниманія на тѣ плохія разсужденія, которыя онъ сталь потомъ писать. Онъ прославился именно какъ великій художникъ, и вотъ теперь носятся съ каждой страницей, котокую онъ напишетъ, разбираютъ его наставленія принимаютъ ихъ въ руководство для жизни, хотя всѣ эти писанія ничего не стоятъ и составляютъ для него просто стыдъ, а не славу. Такъ отвѣчаютъ одни, а другіе идутъ ище дальше. Онъ великъ какъ художникъ, говорятъ они, а по тому самому мы не читаемъ его разсужденій и не хотимъ обращать на нихъ вниманіе. Художнику слѣдуетъ оставаться художникомъ, и онъ не можетъ ничего хорошаго сдѣлать, если берется не за свое дѣло.

Легко однако замѣтить, что всѣ эти рѣчи принадлежать людямь, желающимь непремѣнно осудить послѣдній періодъ дѣятельности Л. Н. Толстаго. Они хватаются за его огромную художественную славу, чтобы такъ или иначе обратить ее противъ него, сдѣлать изъ нея орудіе, подрывающее его авторитеть. Они часто увѣряють при этомъ, что они даже необыкновенно любять Толстаго-художника, но за то Толстаго-мыслителя терпѣть не могутъ.

Добрые люди, повторяющіе подобныя рѣчи, конечно, сами не замѣчаютъ, что они пускаютъ въ дело очень жалкую уловку, очень наивное лицемеріе. Во-первыхъ, можеть быть, большую долю всемірной изв'єстности Толстаго нужно приписать не его художественнымъ произведеніямъ, а именно тому религіозно-нравственному перевороту, который въ немъ совершился и смыслъ котораго онъ стремился выразить и своими писаніями, и своею жизнью. Какъ бы мы ни судили объ этомъ перевороть, но, очевидно, образованный мірь быль пораженъ зрълищемъ человъка, въ которомъ съ такою силой, безъ всякихъ внёшнихъ толчковъ, сказались въчные запросы души человъческой. Нужно отдать людямъ честь: никакое литературное мастерство не могло привлечь ихъ любопытства и уваженія въ такой степенн, какъ та душевная исторія, которая совершилась и совершается предъ ихъ глазами въ Ясной Полянъ. Даже въ тъхъ, кто такъ усердно порицаетъ Толстаго, есть, очевидно какоето живое чувство, заставляющее ихъ съ жадностію следить за всемь, что онь делаеть и думаеть.

Что же касается до противоположенія между художникомъ и мыслителемъ, то это было бы чрезвычайно легкій и простой выходъ изъ затрудненія, почему за этотъ выходъ и хватаются упорные люди. Но, какъ я сказалъ, они въ этомъ случай только лицем рятъ вольно и невольно. Не любитъ художественныхъ произведеній Толстаго, не можетъ

ценить ихъ глубокаго духа и содержанія тоть, кто не понимаетъ, какъ тъсно они связаны съ его новыми писаніями. Тѣ самыя начала, которыя онъ теперь проповъдуетъ, безсознательно жили въ немъ всегда и составляли душу всего, что онъ тогда писалъ. На каждой странице его разсказовъ можно видъть, что выше всякой красоты для него всегда стояла красота душевная, что эту красоту онъ видитъ въ "простотъ, добротъ и правдъ", что истинное мужество состоить для него въ терпѣніи и преданности, что истинная любовь всегда для него цёломудренна, и что самые смиренные люди ему являются прекраснье самыхъ великихъ героевъ. Долго очаровываль насъ Толстой этими картинами, и долго самъ былъ очарованъ ими. Но, наконецъ, онъ какъ будто вдругъ опомнился на верху славы и счастія и съ изумленіемъ взглянуль на себя и на другихъ. Онъ какъ будто спросилъ себъ: развъ все это забава? Развѣ можно жить, не зная твердаго пути жизни? Для чего я живу и пишу, если не нашель этого пути и не могу указать его другимъ? И онъ съ отчанніемъ сталъ искать этого пути, влагая въ это исканіе всю свою умственную силу. Тогда для него получила новое, неизм римо болье глубокое значение вся та красота души, которою онъ прежде только безпечно любовался. Изъ эстетика онъ обратился въ нравственнаго проповѣдника; но содержаніе его художественыхъ образовъ и его практическихъ наставленій осталось въ сущности одно и то же. Толстой, можно сказать, нодписалъ для насъ и для себя нравоученіе подъ тѣми баснями, которыя прежде разсказывалъ.

И какъ не видъть, что сдълать это было и полезно, и даже совершенно необходимо? Теперь въдь стало ясно для всъхъ, и для самого автора, что эти безподобныя художественныя произведенія, въ которыхъ повсюду разлито самое высокое и чистое нравственное чувство, не дъйствовали на читателей такъ, какъ должны были действовать. Когда мнимые любители этихъ произведеній изливаются въ восторгахъ отъ ихъ красотъ и вмъстъ отворачиваются отъ нравственныхъ наставленій художника, они только доказывають или свое непониманіе, или извращеніе своего эстетическаго вкуса. И, следовательно, Толсгой не могъ и не долженъ былъ ограничиться однимъ художествомъ. Странно подумать, Анну Каренину, это глубоко цёломудренное произведеніе, иные сумъли такъ читать, что въ нихъ возбуждались только нечистыя чувства и мысли. Они любовались картинами роскошной жизни и нробъгающихъ по ней вспышекъ чувственности и разврата. Понятно, что художникъ не захотълъ больше подоонаго эстетическаго поклоненія. Онъ написаль Крейперову сонату, онъ такъ безпощадно избичеваль нашу нечистую жизнь, что ошибиться въ его мысли уже было невозможно.

Любители литературы часто упрекають Толстаго за то, что онъ теперь пишеть не одни художественныя произведенія, да если и создаеть что нибудь художественное, то не вносить въ дѣло полнаго своего искусства. Для этихъ любителей, очевидно, не имѣеть никакого значенія внутренній перевороть, совершившійся въ художникѣ, такъ мало имъ дорогъ этоть художникъ, такъ мало они цѣнятъ и понимають самый глубокій нервъ его дѣятельности!

Но для понимающихъ между двумя половинами дѣятельности Толстаго нѣтъ разлада и нельзя дѣлать противоположенія; напротивъ, одна половина поддерживаетъ и поясняетъ другую. Кто вникнетъ въ его нравственныя наставленія, для того вдругь открывается самый глубокій и драгоцѣнный смыслъ его художественныхъ произведеній, тѣ тайныя и и иногда еще неясныя для самого художника побужденія, которыми оживлялось его творчество. И на оборотъ, чтобы точно понять направленіе и духъ его послѣднихъ поученій, мы можемъ и должны обращаться къ его чисто художественнымъ созданіямъ, гдѣ этотъ духъ раскрывался еще спокойно, еще безъ порыва и волненія, и потому высказывался часто съ великою тонкостью и правдой, хотя

прежде многіе видѣли въ этомъ только одну роскошь еще неслыханнаго художества. Такъ мы должны поступать, если хотимъ быть вполнѣ справедливыми къ Толстому. Не цѣпляться за мелкіенедостатки и обмолвки, не ловить мелкія и второстепенныя противорѣчія, а брать его въ цѣломъ составѣ его дѣятельности, понять и прослѣдить тотъ единый духъ, который проникаетъ все, что онъ творилъ, думаль и дѣлалъ. Предъ нами огромное явленіе, которому, по его размѣрамъ и значенію, трудно найти подобное во всей исторіи всемірной литературы.

II.

Христіанское, религіозное явленіе.

Все дѣло въ томъ, чтобы найти правильную точку зрѣнія на Толстаго, отыскать тотъ центръ, которымъ управляются его мысли и дѣйствія, изъ котораго поэтому хорошо видна ихъ связь и порядокъ.

Этотъ центръ, эта исходная точка всёхъ его стремленій есть не что иное, какъ евангельское ученіе. Если мы хотимъ понимать Толстого, то прежде всего должны смотрётъ на него, какъ на нѣкотораго христіанина, какъ на одного изъ послѣдователей Христова ученія.

Чрезвычайно странно, что этотъ важнъйшій

пункть всего дёла обыкновенно вовсе не приходить на мысль ценителямь и порицателямь, что они не видятъ здась, по крайней мара, существеннаго вопроса, который нужно разсмотрѣть самымъ тщательнымъ образомъ. Естественно, положимъ, что этотъ вопросъ не занимаетъ тъхъ, кто на всякую религію смотрить съ пренебреженіемъ; но ревнителей христіанства, казалось бы, должно глубоко интересовать религіозное настроеніе Толстаго. Не видно, однако, чтобъ они надъ этимъ задумывались; съ самымъ легкимъ сердцемъ они лишаютъ его имени христіанина, какъ будто такое лишеніе не великая обида, и бываютъ готовы, по всякому попавшемуся поводу, принисать ему мнвнія и чувства совершенно противоположныя христіанскимъ.

Между тѣмъ, многіе ли изъ насъ имѣютъ больше правъ называться христіанами, чѣмъ Толстой?
Напомню здѣсь исторію его обращенія, которую
всѣ знаютъ, или, по крайней мѣрѣ, могутъ знать,
но въ которую очень мало вникаютъ. Какъ онъ
самъ говоритъ, онъ былъ сперва нигилистомъ,
т. е. не имѣлъ никакихъ религіозныхъ убѣжденій,
да не имѣлъ, въ противоположность обыкновеннымъ нигилистамъ, и някакихъ политическихъ
убѣжденій. И онъ не былъ въ этомъ случаѣ какимъ нибудь исключеніемъ; такихъ нигилистовъ у

насъ было и есть великое множество. Онъ жилъ тогда не столько правилами и мыслями, сколько своими чувствами и вкусами, и художественная дѣятельность, казалось, давала полный исходъ его душевнымъ силамъ. Вдругъ наступилъ переворотъ. Среди полнаго благополучія, когда слава его поднялась высоко, богатый, знатный, здоровый, окруженный любящей семьей, онъ вдругъ почувствовалъ пустоту земного счастья, почувствоваль съ такою силой, что пришель въ отчаяние. Невольно приходить на мысль сближение съ тъмъ царевичемъ, который основаль буддизмъ. Уже это одно отчанніе Толстаго должно быть для насъ великимъ религіознымъ поученіемъ, и оно, безъ сомнѣнія, такъ и дъйствуетъ на многихъ, оно для нихъ убъдительный примъръ, что ничто земное не можетъ насытить душу человъка и что нужно обратиться къ небесному, къ религіи. А противники Толстаго, считающіе себя настоящими христіанами, должны бы серьезно спросить самихъ себя, точно ли они чувствують всю тщету земныхъ благъ въ такой мъръ, какъ онъ ее чувствоваль?

Съ какою силой онъ почувствовалъ свою бѣду, съ такою же силой онъ сталь искать отъ нея спасенія. Онъ отдался этому исканію всѣмъ сердцемъ и всею душой. Очень скоро онъ увидѣлъ, что отвлеченныя умствованія и мертвыя книги не дадутъ ему успокоенія, и онъ выбраль другой, живой путь, чёмъ далъ намъ новое поучение. Онъ сталъ искать вокругъ себя людей, которые знають, зачёмъ жить и какъ умирать, следовательно дюдей истинно и твердо в рующихъ, и нашелъ ихъ въ русскомъ простомъ народъ. Иусть не забудутъ ревнители христіанства, въ какой великой школѣ обучался въръ графъ Толстой. Они должны согласиться, что въ выборъ этой школы имъ руководило глубокое религіозное пониманіе. Наши образованные классы таковы, что не могли дать ему того, чего онъ жаждаль. Онъ обращался ко всемь, онъ спрашиваль о въръ Каткова, Аксакова, митрополита Макарія, но не былъ вполнъ удовлетворенъ ихъ отвътами; только у простыхъ людей онъ несомивнио нашелъ ту мудрость, которая утаена отъ мудрыхъ и разумныхъ и открыта младенцамъ. Каковы бы ни были убъжденія Толстого, но при оцънкъ ихъ никогда не следуетъ забывать, что они развивались подъ вліяніемъ, можно сказать, наилучшаго христіанскаго элемента, какой только есть въ мірѣ. Долгіе годы Толстой провель въ близкомъ и постоянномъ общеніи съ простымъ народомъ, къ которому онъ и всегда чувствовавъ особенное влеченіе. Тутъ онъ учился, какъ "по Божью" жить, мыслить и чувствовать. А къ этому нужно еще прибавить, что такую школу проходиль человъкъ, одаренный геніальнымъ поэтическимъ чутьемъ, способный видѣть всіз душевные изгибы и глубины. Лучше кого бы то ни было онъ могъ понять усвоить основы народнаго благочестія, и по всему этому, какъ бы мы ни были расположены искать у него ошибокъ и преувеличеній, но мы, безъ сомнѣнія, должны признать въ немъ живое и могущественное проявленіе той самой религіозности, которая одушевляетъ русскій народъ. Иностранные писатели часто говорятъ, что Толстой былъ обращенъ къ религіи однимъ изъ нашихъ раскольниковъ. Это не вѣрно; но понятно, что въ глазахъ иностранцевъ два различныя явленія подходятъ подъ одну формулу, подъ ту черту глубокой вѣры, которую знаетъ весь міръ за Россіей.

На этомъ дѣло, однако же, не могло остановиться. Такъ или иначе, но Толстой, конечно, не могъ ограничиться дѣтскою и простодушною вѣрой народа; неизбѣжно должны были возникнуть старанія привести ее себѣ къ сознанію, облечь ее въ ясныя понятія. Онъ сталъ читать богословскія книги, принялся изучать Священное Писаніе и посвятилъ на это много времени, много напряженнаго труда. Когда-то прежде онъ ради Гомера выучился погречески; теперь это знаніе пригодилось, чтобы вникать въ подлинникъ Евангелія, и онъ выучился поеврейски, чтобы точно такъ же читать въ под-

липникѣ Вехтій Завѣть. И тутъ, не должны ли мы поставить его себѣ въ примѣръ и образецъ? Кто изъ насъ, изъ тѣхъ, которые считаютъ себя настоящими христіанами и упрекаютъ его въ заблужденіяхъ, кто на столько заинтересованъ своимъ христіанствомъ, чтобы прилежно изучать Библію и писанія богослововъ? Мы предаемся всякой любознательности, но меньше всего мы любозпательны къ тому, что считаемъ, будто бы, самымъ важнымъ для себя предметомъ. Толстой по казалъ, какъ должны бы мы вести себя въ этомъ отношеніи, если бы были истипно религіозпыми людьми.

Наконецъ извѣстио, что онъ измѣнилъ образъ своей жизни, что онъ старается на дѣлѣ выполнять свои новыя убѣжденія. Но тутъ, конечно, мы не можемъ произнести полнаго сужденія, ибо это его личное дѣло, которое очень трудно цѣнить и разбирать, даже если бы мы имѣли на то какое нибудь право и возможность. Тутъ отъ насъ легко могутъ укрыться самыя существенныя стороны, и мы что нибудь побочное и случайное примемъ, пожалуй, за самое главное. Достовѣрно и ясно только то, что онъ непрерывно дѣлаетъ усилія и попытки новой жизни. Всѣмъ извѣстно его отреченіе отъ мірскихъ благъ, этотъ внѣшній признакъ новорота; внутренніе же его подвиги не могутъ

быть извѣстны и, можеть быть, останутся навсегда тайной между нимъ и Богомъ.

Если теперь мы соединимъ вмѣстѣ всѣ указанныя черты, то предъ нами окажется полный образъ истинно религіознаго человѣка, притомъ образъ яркій и величавый. Среди нашей, въ сущности, языческой жизни, среди равнодущія къ религіи и невфрующихъ и вфрующихъ, онъ показалъ намъ, какую силу можетъ и должна имъть для человъка религіозная идея: И такъ какъ онъ притомъ великій художникъ, такъ какъ всёми симпатіями и мыслями онъ сливается съ наподнымъ нашимъ благочестіемъ, то нътъ сомнънія. что онъ составляетъ одно изъ глубочайшихъ и замфчательнъйшихъ явленій религіознаго духа. Люди, преданные религіи, ставящіе духовную жизнь выше всего, должны смотръть на него и съ уваженіемъ, и съ величайшимъ любонытствомъ. Въ немъ они навърное найдутъ для себя много поучительнаго и назидательнаго, чего уже никакъ нельзи найти у тѣхъ, которые называють себя настоящими христіанами, но о въръ никогда не думають, предоставлян эту заботу духовнику, а въ жизни спокойно илывутъ туда, куда дуетъ вѣтеръ.

III.

Раціонализмъ и отреченіе отъ него.

"Все это такъ, —скажутъ намъ, —но въдь Толстой умствуетъ и по своему толкуетъ тексты; онъ не вѣрующій, а раціоналистъ".

Но, во-первыхъ, кто же не раціоналисть? Какъ Мольеровскій мішанинь быль очень удивлень, узнавъ, что говоритъ прозой, такъ безъ сомнѣнія, многіе ревнители въры не подозръвають, что раціонализмъ вообще есть дѣло неизбѣжное, и что сами они на каждомъ шагу оказываются раціоналистами. Несколько леть тому назадь одна благочистивая дама, живущая въ далекой глуши, спра шивала меня: "Объясните мнѣ, за что всѣ такъ бранять Толстаго?, -, Больше всего за то, - отвъчаль я-что онъ по своему толкуетъ Евангеліе". - "Ахъ, Боже мой!-возразила она,-да въдь и я его толкую по своему, какъ понимаю, и нянюшка Михайловна тоже какъ понимаетъ, такъ и объясняетъ. Мы объ постоянно читаемъ Евангеліе, но у насъ тутъ не у кого и спросить, върно ли мы поняли". Признаюсь, это возражение на минуту сбило меня, и этоть случай остался въ моей памяти, какъ самая простая формула вопроса о нашихъ отношеніяхъ къ тексту Священнаго Писанія. Не слъдовало-ли мнъ сказать этимъ двумъ читательни-

цамъ, что онв подвергаются большой опасности ложно понять слова Евангелія, и что имъ нужно запастись богословскими сочиненіями, устанавливающими правильное истолкованіе? Но въдь богословскія сочиненія были бы для нихъ въ тысячу разъ менъе понятны, чъмъ само Евангеліе. А потомъ, и это главное, для меня было внѣ всякаго сомнінія, что эта дама и ея безподобная Михайловна никогда евангельскихъ словъ не истолкуютъ и не могуть истолковать въ дурномъ духѣ. Слѣдовательно, дёло не въ томъ, что мы пускаемся въ собственныя объясненія и умствованія, а въ томъ, съ какимъ духомъ мы приступаемъ къ чтенію Писанія, чего мы въ немъ ищемъ. Многіе, какъ извъстно, убъждены, что это чтеніе вообще опасно. "Изученіе Священнаго Писанія вовсе не такъ легко и требуетъ головы не менфе сильной, чыть изучение какой либо другой науки. Ныть ничего опаснъе, какъ плохое пользование текстами Откровенія" *). Если бы такъ, если бы только "сильныя головы" способны были надлежащимъ образомъ понимать тексты Писанія и вполнѣ безонасно ими пользоваться, то намъ следовало бы признать очень вредною діятельность всіхъ, кто такъ ревностно распространяетъ Иисаніе среди самыхъ темныхъ слоевъ народа. По счастію, все

^{*)} См. Русское Обозръніе, 1890, декабрь, стр. 895.

это дёло имѣетъ совершенно другой видъ. Не умомъ постигается главный смыслъ Писанія, а сердцемъ, всёми живыми силами нашей души. Кто приступаетъ къ Писанію съ тёмъ религіознымъ чувствомъ, искра котораго таится въ самыхъ простыхъ и темныхъ душахъ, тогъ найдетъ въ божественной книгѣ пищу для этого чувства, и тѣмъ больше пищи, чѣмъ сильнѣй и глубже его чувство.

Всё мы отчасти раціоналисты, потому что во всякомъ дёлё мы неизбёжно разсуждаемъ, а если разсуждаемъ, то, значитъ, прибёгаемъ къ какимъ нибудь началамъ и пріемамъ разума, и даже всегда стараемся проводить эти пріемы и начала какъ можно дальше. Но быть вполнё раціоналистомъ, т.-е. опираться на одинъ только разумъ, едва ли кто можетъ, почему люди, стремящіеся къ полному раціонализму, обыкновенно отличаются лишь тёмъ, что больше другихъ отрицаютъ и сомнёваются. Если обратимся къ Толстому, то, конечно, онъ началъ съ раціоналистическаго отрицанія и сомнёнія; но уже давно онъ пришелъ къ образу чувствъ и мыслей, которыя нельзя назвать раціонализмомъ.

Онъ повърилъ въ Евангеліе, онъ всѣмъ сердцемъ почувствовалъ и призналъ надъ собою власть Христова ученія. Поэтому, тогда какъ для раціоналиста Евангеліе есть книга на ряду съ другими книгами, и слова этой книги подлежать обсужденію наравнь со всякими другими человьческими словами, — для Толстаго эти слова есть высшій авторитеть, несравнимый ни съ какимъ другимъ. Онъ не смотритъ на ученіе Христа объективно, не подвергаетъ его какой нибудь исторической или психологической критикъ; онъ всѣмъ умомъ и сердцемъ стремится къ одной лишь цѣли—понять это ученіе, уразумѣть ту высочайшую правду, которая въ немъ заключается и которая уже влечеть за собою исполненіе естественно и неизбѣжно. Онъ прилежно ищетъ въ словахъ Христа указаній для жизни и потомъ слѣдуетъ этимъ указаніямъ —

Безропотно, какъ тотъ, кто заблуждался И встръчнымъ посланъ въ сторону иную.

Да мало сказать и безропотно: нужно сказать—
радостно, какъ тотъ, кто съ ужасомъ чувствовалъ,
что не не знаетъ и не можетъ узнать, куда идти,
и кого вдругъ вывели на прямой и ясный путь
къ родному дому.

Развѣ это живое и сердечное отношеніе къ евангельской проповѣди похоже на раціонализмъ? Чтобъ яснѣе увидѣть разницу, возьмите настоящихъ раціоналистовъ, возьмите лучшаго изъ нихъ—Ренана. Мы всѣ его читали, и конечно съ несравненно большимъ вниманіемъ и уваженіемъ, чѣмъ Толстаго. Итакъ, припомните, что Ренанъ по време-

намъ относится къ Христу съ явнымъ чувствомъ своего умственнаго превосходства. Онъ признаетъ, что это былъ человѣкъ высшаго разряда (un homme supérieur), и очень восхищается Его нравственными качествами; но относительно людскихъ дѣлъ и хода историческихъ явленій Ренанъ открываетъ въ Немъ слѣды незнанія и непониманія, и замѣчаетъ объ этомъ съ нѣкоторою высокомѣрною снисходительностію.

Ничего подобнаго этой жалкой "игрѣ ума", этимъ жалкимъ обобщеніямъ и отвлеченіямъ, вы не найдете у Толстаго. Для него Христосъ есть явленіе единственное и несравнимое, есть живое лицо, въ которомъ воплотилась высшая истина. Для него судить и критиковать Христа есть нельное пустословіе, а слѣдуетъ дѣлать одно — съ открытымъ сердцемъ вникать въ Его жизнь и слова, потому что кто вникнетъ, тотъ и предастся имъ всею душой.

Опять скажу: нашъ великій художникъ подаетъ намъ всёмъ великій примёръ. Своимъ геніальнымъ чутьемъ онъ понялъ, какъ праздны и мертвенны всё отвлеченныя толкованія и изученія; онъ перешелъ отъ всякихъ разсужденій и изслёдованій къ живой любви, къ радостной, сердечной покорности. Такой переходъ долженъ быть всегда цёлью и концомъ исканія истины.

Величайшую несправедливость и величайшую обиду Толстому дѣлаютъ тѣ, которые говорятъ и печатаютъ, что онъ проповѣдуетъ "повую вѣру", что онъ сочинилъ "новое евангеліе". Конечно, его противники посредствомъ такого пріема сразу вышгрываютъ дѣло, — кто же захочетъ предпочесть Христовой вѣрѣ другую вѣру и другое евангеліе? Но къ подобнымъ вещамъ самъ Толстой не подавалъ никакого повода. Онъ постоянно твердитъ, что исповѣдуетъ только ученіе Христа и что желаетъ объяснить Христово Евангеліе, а не возвѣстить что-нибудь новое.

IV.

Мы вовсе не хотимъ разбирать здёсь какія-нибудь ученія Л. Н. Толстаго, не хотимъ ни защищать ихъ, ни опровергать. Пусть это дёлаютъ другіе, какъ скоро сознаютъ, что они достигли яснаго пониманія дёла и что могуть сказать о пемъ чтонибудь твердое и хорошее. Наша цёль гораздо проще и легче: мы хотёли бы только указать на самыя ясныя и несомнённыя черты дёла, на самыя очевидныя и неизбёжныя точки зр'єнія, на которыя долженъ становиться всякій, кто берется судить объ этомъ дёлё. Читая и слушая безчисленные толки о Толстомъ, часто нельзя не изумляться тому,

въ какихъ потемкахъ живутъ люди относительно важнъйшихъ вопросовъ, и можно только радоваться. если наконецъ эти вопросы стали для нихъ вопросами, если наконецъ они вынуждены отдавать себъ въ нихъ отчетъ. Но сила потемокъ очень велика; поэтому у многихъ, вмъсто умственнаго и нравственнаго возбужденія, часто все ограничивается однимъ упорнымъ непониманіемъ и оканчивается совершенно несправедливымъ негодованіемъ и пренебреженіемъ. Очень любопытная черта: нападенія и крики на Толстаго у насъ несравненно распространенные и жесточе, чымь за границей, въ странахъ давняго образованія. Тамъ, очевидно, есть привычка, такъ сказать, къ теоретической терпимости, тамъ пріучились не отказывать разномыслящимъ въ уваженіи. Мы же, русскіе, будучи на практикъ самымъ терпимымъ народомъ въ міръ, на словахъ и въ мысляхъ встрѣчаемъ всякое разногласіе съ какимъ-то ожесточениемъ и безпощадно его отвергаемъ. Противъ Толстаго съ воплемъ подымаются люди, не замѣчающіе, что сами они не имѣютъ никакого права подавать голосъ въ религіозныхъ и нравственныхъ вопросахъ. И какъ только разъ началось осужденіе, то ужъ безъ разбора на геніальнаго писателя взводится нельность за нельностію и обвинители не подумаютъ, что нужно бы тщательно изучать его писанія, вникать въ духъ и

связь его рѣчей, прежде чѣмъ рѣшиться приписывать ему даже малую долю того, что они приписывають.

Когда укоряють его въ томъ, что онъ по своему пониманію религіи, по совътамъ нравственности, или даже по жизни,—плохой христіанинъ, невольно хочется сказать инымъ укоряющимъ: кто изъ васъ лучше, тотъ пусть первый броситъ въ него камень. "Онъ искажаетъ догматы". Но развѣ за то, что мы этого не дѣлаемъ, мы стоимъ большой похвалы? Мы вѣдь ихъ не искажаемъ только потому, что вовсе о нихъ не думаемъ, что мы въ сущности совершенно къ нимъ равнодушны и предоставляемъ ихъ пониманіе и истолкованіе другимъ людямъ. Только поэтому мы и воображаемъ, что имѣемъ право считать себя настоящими православными. Мы не говоримъ и не размышляемъ о догматахъ, а потому, конечно, никакъ не можемъ искажать ихъ.

Но вѣдь въ строгомъ смыслѣ и этого сказать нельзя. Мы все-таки пускаемся иногда вспоминать и опредѣлять догматы, и такъ какъ всѣ мы невѣжды въ церковномъ ученіи, то мы неизбѣжно его искажаемъ; если хорошенько допросить насъ о нашемъ пониманіи религіозныхъ истинъ, то оказалось бы, что, почти безъ исключенія, каждый изъ насъ еретичествуетъ въ томъ или въ другомъ пунктѣ. И мы спасаемся отъ ереси только однимъ, только тѣмъ,

154 толки

что не придаемъ никакого значенія собственнымъ словамъ и мыслямъ, что мы готовы отказаться отъ нихъ по первому требованію.

Итакъ, все наше преимущество предъ Толстымъ состоить въ томъ, что мы не проповъдуемъ того, что думаемъ, и даже, еще лучше, что мы вовсе не думаемъ о чемъ-нибудь такомъ, что нужно бы проповъдывать. Единственно поэтому мы признаемъ себя хорошими христіанами, да поэтому же ревнители въры, если и не одобряють насъ, то, по крайней мъръ, закрывають на насъ глаза и не считають нужнымъ о насъ тревожиться. Между тъмъ развъ все это хорошо? Развѣ мы получаемъ въ силу этого какое-нибудь право судить и осуждать Толстого? Въ глазахъ людей преданныхъ религіи Толстой долженъ имъть передъ нами великое преимущество, потому что онъ одушевленъ истинно религіозною ревностію. Ошибается ли онъ, или нѣтъ, но во всякомъ случав онъ знаетъ, что онъ исповедуеть, онъ долго объ этомъ думалъ, онъ долго и прилежно изучалъ самые источники вфроученія. Чтобы намъ съ нимъ поравняться, чтобы пріобрести право судить его не съ чужого голоса, намъ нужно делать то самое, что опъ дълалъ. И, безъ сомнънія, въ образоваеныхъ классахъ иные почувствовали эту обязанность, такъ что, благодаря Толстому, кое-гдъ началось чтеніе и изученіе Евангелія. Но большинство, конечно, осталось нетронутымъ; они продолжаютъ кричать и порицать Толстого, сами не зная хорошенько за что, въ сущности же за то, что онъ нарушаетъ ихъ покой, тревожитъ ихъ невѣдѣніе и равнодушіе.

V.

Главное дѣло относительно Толстаго, однако же, не въ догматахъ. Если мы хотимъ быть справедливыми къ Толстому и судить его съ надлежащей точки зрѣнія, то должны видѣть, что центръ его ученія составляютъ не какіе нибудь догматы, а христіанскія правила жизни, изложеніе и объясненіе нашихъ обязанностей. Онъ проповѣдникъ не какой нибудъ теоріи, а практическаго христіанства, учитель нравственности. Сюда тяготьютъ всѣ его мысли, и если мы не будемъ имѣть этого въ виду, то мы ничего въ немъ не поймемъ.

Напримѣръ, если мы находимъ, что онъ что нибудь отрицаетъ (а отрицаніе чаще всего ведетъ къ ошибкѣ, какъ замѣтилъ Лейбницъ), то мы заранѣе должны предполагать, что онъ дѣлаетъ это не изъ простого скептицизма, не ради какой-то борьбы съ авторитетомъ, а потому, что видитъ въ отрицаемомъ помѣху чисто нравственному настроенію. Предъ такимъ стремленіемъ, передъ такою постановкой во-

проса мы не можемъ не почувствовать уваженія и вниманія. Ибо нравственность есть д'яйствительное мърило человъческого достоинства и верховная точка зрѣнія. Никто не обязанъ имѣть высокій умъ, и всё обязаны имёть чистую совёсть. Всякія человъческія соображенія, всь наши желанія и блага должны отступить на второй планъ предъ стремленіемъ къ нравственному совершенству. Да какъ скоро человъкъ завидълъ этотъ путь и одушевленъ нравственною силой, онъ уже не можетъ быть покоренъ никакою иною мудростію, никакимъ инымъ могуществомъ. Для нѣкоторыхъ философовъ, напримъръ, для Канта, нравственное чувство составляетъ самый источникъ религіи, и изъ требованій этого чувства они выводять религіозныя истины.

Именно съ этой стороны преимущественно намъ слѣдуетъ разсматривать Толстаго. Нужно прежде всего видѣть въ его писаніяхъ ихъ нравственное содержаніе вообще, а затѣмъ, опредѣленнѣе, ихъ стремленіе къ христіанскому нравоученію, какъ къ высшему и окончательному. Все, что сюда не относится, теоретическія истолкованія и практическія отрицанія, уже имѣютъ у Толстого второстепенное значеніе, и, не въ мѣру останавливаясь на нихъ, мы только затемнимъ дѣло. Поэтому, если кто непремѣнно желаетъ опровергнуть

Толстаго, тотъ пусть не ловить его на ошибочныхъ взглядахъ на природу Бога, міра и людей, на тъ или другія слова Писанія, а пусть доказываетъ, если можетъ, что Толстой проповъдуетъ дурныя нравственныя начала, что онъ не понялъ и извратилъ христіанское нравоученіе. Нѣкоторыя духовныя лица (можетъ быть, впрочемъ, върнъе было бы завсь поставить вмвсто множественнагоединственное число) поняли, что именно въ этомъ заключается вопросъ о Толстомъ; но, къ несчастію, правильно поставивъ вопросъ, они сейчасъ же сошли съ върнаго пути, принявшись съ непонятною легкостью приписывать Толстому всевозможныя дикости. Какъ и почему это делается, действительно трудно понять. Дёло доходить до того, что, по случаю увѣщаній Толстаго жить въ деревнъ, говорили, что онъ ограничиваетъ всъ потребности человъка вдою и питьемъ, а по случаю Крейцеровой сонаты — что онъ чуть ли не совътуетъ убивать невфрныхъ женъ, или, по крайней мфрф, совершенно оправдываетъ Познышева. Въ этой сумятицѣ истинно дикихъ сужденій, вихремъ поднявшихся и кружащихся около Толстаго, прежде всего ясно одно, - до какой степени онт противорѣчитъ ходячимъ понятіямъ, установившемуся складу мыслей, и до какой степени онъ поразилъ умы, разбудилъ ихъ и встревожилъ. Одинъ изъ

его противниковъ, и притомъ очень жестокихъ, хорошо выразилъ это впечатлѣніе. "Что намъ дѣлать», восклицаетъ онъ,—«въ виду этой страшной Медузиной головы, этого колоссальнаго, какъ по силѣ и полнотѣ, такъ и по совершенному отсутствію основаній (?), осужденія всего нашего бытія (т. е нашей жизни) въ безсмысліи, лжи и разврать "*)?

Тутъ насъ должна изумлять и радовать сила, съ которою действуетъ проповедь, но вмёсть съ темь намь объясняется, отчего всё пустились защищаться отъ нея, и защищаются какъ попало и чѣмъ попало. Страннѣе же всего и почти невъроятно тутъ одно явленіе: какимъ образомъ люди ученые, обладающіе духовнымъ просвіщеніемъ, не видять настоящихъ основаній этой проповёди, или даже находять въ ней совершенное отсутствие оснований? Почему отъ нихъ совершенно укрылся христіанскій характеръ этой пропов'йди, тогда какъ онъ выступаеть въ ней повсюду, въ чертахъ яркихъ, выпуклыхъ, даже преувеличенныхъ? Чтобы отвъчать на это, остается одно предположение: должно быть никому уже не знакомъ истинный духъ христіанскаго нравоученія; должно быть онъ сталь очепь далекъ отъ

^{*)} Вопросы Философіи и Психологіи, кн. 4-я, стр. 93, статья П. Е. Астафьева.

мыслей даже людей очень ученыхъ и просвѣщенныхъ. И таково дѣйствительное объясненіе дѣла: другой духъ завладѣлъ нашимъ просвѣщеніемъ, и мы, теперешніе просвѣщенные люди, не только не слѣдуемъ Христу, но и перестали понимать, чему онъ училъ.

Надъ Толстымъ иногда подсмѣиваются за то, что, разсказывая о своихъ поискахъ за истинною нравственностію, онъ выражается съ большою живостію, какъ будто онъ первый нашелъ отвѣты на вопросы, которые старался разрѣшить. Если бы мы оглянулись на себя, то мы перестали бы смѣяться; среди насъ Толстой, конечно, былъ бы правъ, сказавъ, что именно онъ открылъ настоящій духъ Христова нравоученія.

VI.

Судить о христіанскомъ нравоученіи вовсе не легко для тѣхъ, кто попалъ въ потокъ современнаго образованія и никогда не выходилъ изъ него. Вся наша жизнь построена на другихъ началахъ. Но духъ этого ученія, возникшій двѣ тысячи лѣтъ назадъ, еще дѣйствуетъ во всемъ мірѣ и прошелъ черезъ долгую исторію, въ которой раскрывалъ себя въ различныхъ направленіяхъ, выражался въ жизни и мысли длиннаго

ряда покольній, воплощался во множествь разнообразныхъ лицъ, часто несравненныхъ по высотъ души и всякимъ достоинствамъ. Все это, весь этотъ міръ--и прошлый, и настоящій-остается намъ чуждымъ; мы прикасаемся къ нему только внѣшнимъ образомъ и не имѣемъ понятія о томъ, какъ онъ огроменъ и что онъ въ себъ содержитъ. Замѣчательно, что до сихъ поръ объемъ того, что пишется и печатается по части религіи, т. е. по части богословія, исторіи христіанства, христіанскихъ наставленій и размышленій, толкованій Библіи, споровъ, разсказовъ и пр., во всёхъ странахъ объемъ этой литературы далеко превосходить объемъ всякой другой области писанія и печатанія. Но эта духовная сфера какъ будто отделена отъ насъ высокою стеной и ни малою долей не входить въ колею нашихъ привычныхъ ежедневныхъ чтеній, мыслей и разговоровъ. Туда намъ нужно заглянуть, тамъ искать поученія и точекъ опоры, если желаемъ имъть какія нибудь основанія для сужденія о Толстомъ.

Духъ христіанскаго нравоученія есть ивчто глубокое и живое, есть нвкоторый повороть всей человвческой души въ сторону ввчности. Онъ овладваеть всёмъ существомъ человвка и, живя въ немъ, стремится измёнить всё его склонпости и дъйствія, кладеть свою печать на всё движенія

ума и сердца. И онъ всегда себъ въренъ; въ различныхъ людяхъ и въ различныхъ обстоятельствахъ онъ даеть все тѣ же различныя развитія и уклоненія. Онъ есть нікоторая жизнь, высшая жизнь нашей души, и, какъ жизнь, онъ вѣчно тотъ же, и въчно новъ и свъжъ. Поэтому, если взять любое изъ наставленій Толстаго, любую изъ его мыслей, относящихся къ нравоученію, то всегда можно найти эту мысль, или близкую къ ней, въ одномъ изъ ученій, возникавшихъ на почвѣ христіанства. И въ предълахъ церкви, и за ея предълами, одинъ и тотъ же духъ принималъ множество видоизмененій. Секты были обыкновенно только болье ръзкими и крайними изъ этихъ видоизмёненій. Такимъ образомъ, отъ самаго начала христіанской исторіи и до нашего времени идетъ непрерывный рядъ и такихъ ученій, въ которыхъ на первое місто ставилась практика святой жизни, осуществление нравственныхъ идеаловъ. Последователи этихъ мирныхъ и чистыхъ ученій всегда внушали къ себъ невольное уваженіе, и многіе стали для всего міра образцами, типами нравственныхъ достоинствъ. Монахъ, подвижникъ, гернгутеръ, квакеръ-эти слова сдѣлались нарицательными, стали общимъ названіемъ иля обозначенія извъстнаго поъеденія, извъстныхъ добрыхъ качествъ.

Воть въ какой области нужно искать наиболже

162 толки

близкихъ аналогій для проповѣди Толстаго. Онъ приходитъ часто къ заключеніямъ, которыя уже давно выведены. Этого обыкновенно не понимаютъ и не знаютъ его порицатели; они иногда считаютъ личными его фантазіями, осмѣиваютъ и презираютъ то, подъ чѣмъ охотно подписались бы христіанскія свѣтила давняго или новаго времени.

Никакъ не следуетъ, однако же, думать, что речи Толстаго составляють какое-нибудь подражаніе, или повтореніе стараго. Удивительная сила этой пропов'єди зависить именно оть ея чрезвычайной самобытности. Самобытность въдь не всегда состоитъ въ новости предмета; высшая оригинальность, конечно, заключается въ глубинв и полнотв, съ которою писатель проникаетъ въ какое-нибудь всегдашнее, вѣчное начало человѣческой души. Наставленія Толстаго представляють полное своеобразіе; они движутся по своимъ особымъ путямъ, захватывають особыя сферы чувствъ и предметовъ и освъщають ихъ съ особыхъ сторонъ. Ибо это живая, искренняя ръчь человъка, откровение его сердца, живущаго темъ самымъ, что онъ говоритъ Тутъ все новое, потому что все живое. Вполнъ характеризовать его направление было бы, я думаю, не легко. Въ самыхъ первыхъ его художественныхъ произведеніяхъ уже сильно высказываются его христіанскіе инстинкты. Въ Дътство юродивый Гриша

и нянюшка Наталья Савишна описаны съ сочувствіемъ, къ которому не примѣшивается ни единой нарушающей черты. Въ самомъ центръ Войны и мира помѣщена фигура Платона Каратаева и его разсказъ о безвинно пострадавшемъ купцѣ, -тотъ разсказъ, который, какъ говорятъ, особенно полюбился народу, когда быль издань отдёльно. Анна Каренина оканчивается обътомъ Левина ,жить по Божью". Мы напоминаемъ здёсь только двё-три точки; но имъ соотвътствуетъ весь духъ этихъ преизведеній: безпощадное обличеніе всякой фальши, всякой душевной нечистоты; ностоянное преклоненіе предъ "простотой, добромъ и правдой". Невозможно представить себф вкуса болфе чистаго и болве тонкаго, чвмъ тотъ, съ какимъ проводится вездъ черта между дурнымъ и хорошимъ, между душевнымъ безобразіемъ и душевною красотой. И прасотой признается только одно смиренное и безкорыстное, только целомудренное и самоотверженное, только искреннее и любящее. При этомъ художникъ чуждъ всякой восторженности и сентиментальности, всякихъ порывовъ и преувеличеній; напротивъ, онъ ведетъ дъло съ неподкупною трезвостью взгляда, съ небывалою остротой анализа, какъ человъкъ, встми силами ума ищущій истины и ненавидящій обольщеніе. Такъ составился въ его душь неотразимый идеаль нравственной жизни, больше всего почеринутый изъ душевнаго склада простаго народа, и, когда потомъ поднялись въ немъ религіозные запросы, онъ скоро понялъ, что это идеалъ христіанскій, и сталъ изучать его въ Евангеліи и выражать въ своихъ разсужденіяхъ.

Мы не будемъ здѣсь пытаться полнѣе опредѣлить особенности нравоученія Толстого, которыя легче чувствовать, чѣмъ высказать; скажемъ лишь вообще, что писанія его чрезвычайно поучительны, представляютъ множество чертъ своеобразнаго склада нравственныхъ понятій, притомъ такого, который особенно привлекателенъ для русскаго чувства.

VII.

Итакъ, у насъ явился христіанскій правоучительь Какая радость! Осуждая его за то, что онъ впадаетъ въ ересь, нужно же помнить, что, во-пер выхъ, онъ все-таки человѣкъ религіозный, слѣдовательно несравненно ближе къ правильно вѣрующимъ и несравненно лучше той безчисленной толпы, которая отвергаетъ всякую религію, которая питаетъ къ ней презрѣніе и ненависть. А во-вторыхъ, что значитъ вся его ересь сравнительно съ тѣми ужасными ученіями, которыя у насъ такъ распространены и дѣйствіе которыхъ еще недавно изумляло весь міръ и заставляло содро-

гаться Россію, какъ будто она готова была разрушиться?

Если мы, вообще, взглянемъ на наше умственное развитіе, на тѣ иден, которыя жили и господствовали въ нашихъ образованныхъ классахъ, то мы должны будемъ признать Толстаго явленіемъ и радостнымъ, и совершенно неожиданнымъ. Наше просвѣщеніе, по нѣкоторому неизбѣжному ходу вещей, получило общій характеръ отрицанія, фактъ извъстный, давно и часто обсуждавшійся. Укажемъ на тѣ два разряда людей, которыхъ нужно считать лучшими образчиками нашего просвъщенія, его наиболье посльдовательными носителями. Однихъ можно назвать анархистами, потому что принципъ ихъ-произволъ индивидуальнаго человѣка, слѣдовательно, отрицаніе всякихъ началъ нравственныхъ, общественныхъ, государственныхъ, экономическихъ, какъ стъсняющихъ индивидуальный произволь. Эти люди признають только одно начало, -- равноправность всёхъ произволовъ, видять въ этой равноправности единственное общее благо и потому исповъдуютъ политическій радикализмъ, т. е. считаютъ долгомъ разрушать всякую власть, всякую связь между людьми, идущую дальше полюбовныхъ соглашеній. Такова обыкновенная, торная дорога нашего просвъщенія. Отсюда безпрерывное раздраженіе, постоянныя колебанія въ частной и въ общей жизни. По этой дорогѣ идетъ главная масса нашихъ образованныхъ классовъ, и только внутреннія тайныя силы, только незаглушимые инстинкты удерживаютъ большинство отъ крайнихъ ходовъ, на которые толкаютъ его сознательныя его понятія.

Но есть другой разрядъ просвъщенныхъ людей, въ сущности гораздо худшій, хотя менфе замфтный. Они вполнѣ заслуживаютъ имени нигилистовъ, потому что дъйствительно ничего не признають, кромъ себя и своихъ наслажденій. Они ни съ чёмъ не борются, а только всёмъ пользуются. Для нихъ религія, государство, патріотизмъ, — чистые предразсудки, но предразсудки удобные и необходимые для ихъ спокойствія и благосостоянія. Они бывають часто безукоризненно честны, приличны и даже справедливы, но только потому, что это наилучшія условія для пріятнаго общежитія, которыя глупо было бы нарушать. Но гдф можно, тамъ они такіе деспоты, распутники и эгоисты, какихъ еще міръ не создавалъ. И понятно что эти истинные нигилисты — великіе враги не только анархистовъ, но и всякаго, кто вздумаетъ тревожить ихъ совъсть серіозными требованіями.

Вотъ среди какой атмосферы возникъ Толстой. Полное отсутствие всякой религиозности, у лучшихъ--злоба, у худшихъ — гииль, и нигдъ просвъта среди этого мрака. Казалось бы, ревнители въры должны были съ ужасомъ и сокрушениемъ смотрѣть на такой ходъ умовъ, продолжавшійся многіе годы и десятильтія, и Толстой долженъ быль ихъ обрадовать, какъ неожиданно появившаяся заря. Между тъмъ, если судить по многимъ ихъ ръчамъ и заявленіямъ, можно подумать, что они равнодушно сносили тьму и хаосъ нашего образованнаго міра, и что эта поднявшаяся заря вызвала у нихъ только раздраженіе, а не сочувствіе. Они вооружились противъ Толстаго съ большимъ жаромъ, чъмъ когда-нибудь вооружались противъ самыхъ жестокихъ отрицателей и вольнодумцевъ. Они вовсе не замѣчаютъ, что, опровергая его, они большею частію противорвчать сами себв. Толстой сталъ проповедывать преданность волё Божіей, нестяжаніе, воздержаніе, непротивленіе; случалось, однако же, что даже иноки нисколько не радовались этой защить обытовь, ими самими даваемыхъ и соблюдаемыхъ, а, напротивъ, находили туть преувеличение и даже клевету на мірскую жизнь.

Споры и нападенія, какъ борьба уб'єжденій, какъ знакъ живой любви къ предмету, есть хорошее д'єло. Понятно, что духовныя лица, глубоко заинтересованныя ученіями в'єры и нравственности, съ такою ревностію выступили со своими сужденіями, когда вопросъ коснулся важнѣйшаго ихъ дъла. Но очень жаль, что они не всегда ясно видять общее положение обстоятельствь, среди которыхъ действуютъ. Если бы Толстой принадлежалъ какъ пибудь къ церковной іерархіи и вдругъ отступилъ отъ правильнаго ученія и старался увлечь своими толкованіями лицъ, принадлежащихъ къ храпителямъ этого ученія, то, конечно, туть была бы возможность вреда, противъ которой нужно бы было вооружиться. Если бы Толстой обратился къ простому народу съ проповъдью какихъ-нибудь новшествъ въ въръ, то нужно было бы тоже внимательно стоять на-сторожъ. Но въдь ни того, ни другаго сказать нельзя. Онъ:не принадлежить къ этимъ сферамъ, онъ не изъ нихъ вышелъ и не въ нихъ дъйствуетъ. Онъ литераторъ, т. е. писатель такъ называемыхъ образованныхъ классовъ; онъ вышелъ изъ нашего светскаго просвещения и действуеть своими писаніями въ той сферф, гдф имфеть силу и значение свътская литература. Для духовныхъ лицъ онъ постороннее явленіе, сколько видно, не могущее производить на нихъ никакого дъйствія; для простого народа его разсказы составляють только подтвержденіе в фрованій и понятій, въ которыхъ этотъ народъ издавна растетъ. Но для литературы и литературной публики онъ есть нѣчто истинпо новое, и тутъ происходитъ его вліяніе, удивительное по обширности и силь.

Возьмите же теперь содержание и свойство этого вліянія, сообразите, до какой степени среда, гль это вліяніе дыйствуеть, была искажена и обезсилена въ умственномъ и нравственномъ отношеніи, какія чудовищныя извращенія душъ она порождала, какъ была чужда всякой религіозности, -- и вы увидите, что Толстой есть явленіе, на которое можно только дивиться и радоваться. Наше умственное движеніе, которому грозила жалкая участь все больше мельть и все шире расплываться мелкими потоками матеріализма и революціонаризма, вдругъ получило неожиданный повороть, давшій ему иное, глубокое теченіе, и истинно отрадный по тому духу, которымъ онъ внушенъ. Не только у насъ, но во всёхъ образованныхъ странахъ, запуганныхъ нашимъ нигилизмомъ, невольно обратилось внимание на этотъ поворотъ, и уже не съ чувствомъ страха и отвращенія, а съ чувствомъ любви и умиленія.

VIII.

Но какъ же это могло случиться? Не есть-ли вся эта исторія—пустое поверхностное волненіе, въ которомъ нѣтъ связи между движеніями, и они

несутся то въ ту, то въ другую сторону, смотря по прихоти вътра? Нътъ, самые размъры дъла уже такъ крупны, что нельзя думать подобнымъ образомъ. Всматриваясь въ различныя формы, которыя принимало и принимаетъ волнение нашей "интеллигенціи", мы увидимъ, что источникъ этихъ движеній всегда одинъ. Интеллигенція мечется потому, что она оторвана отъ почвы, что у нея ньть твердыхъ опоръ для спокойнаго движенія по опредвленнымъ направленіямъ, и она постоянно ищеть этихъ опоръ, она гонится за ихъ призраками, и гонится искренно и горячо, жертвуя всёмъ, ломая все, часто рискуя и своею, и чужою жизнью. Съ этой стороны, если взять эту существенную черту дёла, осудить нашу интеллигенпію невозможно. Что же ей делать, если, отбившись отъ своего народа и его въры, она повисла на воздухѣ? Если просвъщеніе, почернаемое съ Запада, не даетъ ей покоя и устойчиваго положенія, а приносить съ собою только тревогу и раздраженіе?

Русское племя—да, кажется, и всякое славянское—чрезвычайно расположено къ умствованію. Вопросы о Богѣ, мірѣ и человѣкѣ всегда находять себѣ у насъ ревностныхъ рѣшителей. Обыкновенно наше образованіе, а равно и научное подготовленіе, притупляеть, отбиваеть этотъ вкусъ

къ общимъ философскимъ вопросамъ, но онъ часто обнаруживается у простыхъ людей, да пробивается и увсякихъ, какъ неизгладимый слѣдъ того религіознаго отношенія къ жизни, которое внушается христіанствомъ. Знать цѣль человѣка, знать смыслъ жизни—это желаніе въ насъ не угасаетъ, и вмѣстѣ не угасаетъ расположеніе ни передъ чѣмъ не остановиться, все бросить ради этой цѣли и этого смысла. Отсюда наша неустойчивость; надъ нами не имѣютъ прочной власти, не могутъ связать и поработить насъ никакія лишенія и блага, такъ какъ мы всегда пытаемся стать выше ихъ.

По сущности своей, это, безъ сомнѣнія,—прекрасное настроеніе, но оно тѣмъ опаснѣе и уродливѣе, когда бываетъ направлено въ дурную сторону. Таковъ былъ и есть нашъ нигилизмъ; радикальное излѣченіе отъ этого зла, очевидно, возможно лишь тогда, если мы самую силу, его порождающую, обратимъ въ добрую сторону. И это сдѣлалъ Толстой, и въ этомъ разгадка удивительнаго поворота умовъ.

Для поясненія сошлемся на замѣчанія, которыя ведавно высказалъ одинъ ученый иностранецъ, взглянувшій на дѣло съ особой точки зрѣнія.

Французскій политико-экономъ Сенъ-Роменъ пишетъ, что у насъ, въ Россіи, молодые люди слишкомъ мало расположены "искать обезпеченной

и почтенной жизни въ какомъ-нибудь ремеслъ или искусствъ", что русскіе, вообще, "имъютъ ръзко проявляющійся вкусъ къ отвлеченностямъ и мечтаніямъ", и отъ этого вышло вотъ что: "Въ то время, когда міръ стремится по пути матеріальнаго прогресса, нашъ реформаторъ, графъ Л. Толстой, съ великолъпною наивностью садится себъ на краю дороги и приглашаетъ проходящихъ присъсть около, покинуть промышленный трудъ и заняться самою простою, первобытною обработкой своего клочка земли. Понятно, "— восклипаетъ Сенъ-Роменъ, — "онъ останавливаетъ только тъхъ, у кого нътъ силь идти, хромыхъ да лънивыхъ. Кръпкіе проходять, даже не взглянувъ на него" *).

Воть какъ представляется эта исторія тому, кто смотритъ на нее съточки зрѣнія чисто земныхъ благъ, "жизни міра", какъ выражается Л. Н. Толстой. Французскій ученый думаетъ, что "обезнеченная и почтенная жизнь" есть благо, котораго каждый долженъ желать, что ради этого блага нужно отгонять отъ себя всякія "отвлеченности и мечтанія", и что молодые люди, одаренные свѣжими силами и жаждой дѣятельности, непремѣнно должны выходить на "путь матеріальнаго про-

^{*) &}quot;Русск. Обозр". 1890, декабрь, стр. 892, 894, 896. (Статья Сенъ-Ромена Les réformateurs russes явилась въ La science sociale, 1890, t. X. 1. 3.)

гресса, по которому стремится міръ въ настоящее время.

Эти совъты, безъ сомнънія, благожелательны; но сейчасъ видно, что они берутъ дѣло не вполнъ, и потому не могутъ на всѣхъ подъйствовать. Есть люди, которые ставятъ на первомъ мѣстъ не то, чтобы жизнь ихъ была "обезпечена и почтенна", а то, чтобы она была самоотверженна или, по крайней мѣрѣ, совершенно чиста и справедлива. Точно такъ же, иные не находятъ ничего привлекательнаго въ томъ, чтобы идти по пути матеріальнаго прогресса и ему содъйствовать, — напротивъ, готовы на труды и жертвы для прогресса нравственнаго. Осудить такихъ людей мы никакъ не можемъ, и нужно бы было даже считать великимъ горемъ, если бы они стали у насъ исчезать.

IX.

Удивительнаго въ наставленіяхъ Толстаго нѣтъ ничего. "Помилуйте!" — говорилъ намъ одинъ почтенный человѣкъ, сердившійся на упадовъ ума и творчества Толстаго: — "онъ пустился теперь въ ту самую мораль, которую знаетъ и можетъ проповѣдывать каждый пономарь!" Удивительно и истинно чудесно то, что эти наставленія подѣй-

ствовали, что эта "пономарская мораль" вдругъ обнаружила такую силу въ той средъ, въкоторой прежде была встрѣчаема только скукою и презрѣніемъ. Уже съ давняго времени на нашу интеллигенцію не имѣли никакого дѣйстія ни простой народъ, ни духовныя лица. Народъ не могъ имъть дъйствія потому, что просвъщенные люди ставили себя далеко выше его и все мечтали только о томъ, чтобы просвътить и облагородить эту темную массу. Духовныя лица были безсильны потому, что ихъ мысли и рѣчи такъ же не входили въ общеніе, не сливались съ понятіями и взглядами нашего просвъщенія, какъ масло не сливается съ водою. Толстой сдёлаль нёчто, повидимому, невозможное: онъ добылъ изъ какой-то глубины живую воду, съ которою могутъ сливаться и наша обыкновенная вода, и наше обыкновенное масло. Если вспомнимъ, что онъ никогда прежде не былъ любимцемъ молодого поколѣнія и что онъ сталъ рѣзко противорѣчить самымъ распространеннымъ его стремленіямъ, то насъ поразитъ жизненность мысли, которая нашла себъ отзывъ, не смотря на эти препятствія.

И странно было бы не радоваться этому дѣйствію. Огромное и благотворное значеніе дѣятельности Толстого иногда было признаваемо даже духовными писателями, т. е. тѣми, чьи сужденія въ этомъ дѣлѣ всего строже и неуступчивѣе. Приведемъ нѣсколько словъ, сказанныхъ года четыре назадъ въ журналѣ Странникъ. Авторъ доказываетъ, что со времени освобожденія крестьянъ умственное движеніе въ нашемъ обществѣ, не смотря на свою порывистость и хаотичность, все же дѣлало успѣхи, что въ обществѣ есть память извѣстныхъ уроковъ, созрѣли нѣкоторыя мысли, и потомъ говоритъ:

"Хотите-ли убъдиться въ этомъ наглядно? Вотъ вамъ новѣйшій случай: стоило графу Л. Н Толстому выступить съ опытомъ, такъ сказать, духовной соціологіи, какъ и весь мірь за нимъ двинулся, - двинулась не только масса (мы можемъ утвердительно говорить объ этомъ), но двинулась и наша интеллигенція. И думаете-ли вы, что это одно изъ модныхъ, въ старомъ смыслѣ, теченій, вызванныхъ къ жизни случайнымъ потокомъ времени и, къ тому же, усиленныхъ классическимъ именемъ самого писателя? Но это едва-ли такъ: имя, конечно, именемъ, какъ и талантъталантомъ, но есть туть остатокъ, который покроеть собою таланты и имя. Остатокъ-въ томъ, что Толстой не только наилучшимъ образомъ пояснилъ самую мысль 19 февраля, около которой бродило общество, опредъливъ эту мысль не въ моментѣ политическомъ, что по существу легкомысленно и поверхностно, и за что, однако же, все время цёплялось общество, а въ смыслё соціальном, что неизмёримо глубже и достойнёе освободительнаго начала,—но и въ томъ, что этой же мысли онъ придалъ оттёнокъ духовный, оттёнокъ внутренній, нравственый, поставивъ вопрось о правдю, о смыслё личной и общей жизни, о переустройстве самаго общежитія... И въ этой мысли—успёхъ Толстаго, и здёсь же, если брать только одинъ моменть,—его безспорная заслуга предъ самимъ обществомъ".

Затѣмъ авторъ утверждаетъ, что обществу теперь "остается сдѣлать одинъ шагъ", чтобы "начать новый періодъ существованія", именно нужно "перейти къ другой мысли" и признать двѣ вещи:

- "1) что необходима *до конца* реформа его *понятій* (въ параллель великой внѣшней свободѣ) и
- "2) что реформу своихъ понятій оно можеть взять только въ началахъ христіанства и въ понятіи самой церкви" *).

Вотъ изложеніе смысла д'ятельности Толстаго, которое въ общихъ и главныхъ чертахъ, безъ сомнівнія, совершенно вірно. Д'яйствительно, эта діятельность была не случайна, а составляетъ

^{*)} Странник, духовный журналь, 1886, декабрь, стр. 711, 712.

выходъ изъ того напряженнаго исканія и броженія, въ которомъ были умы; дѣйствительно, величайшая заслуга этой дѣятельности состоитъ въ ея духовномъ характерѣ, т. е. въ томъ, что она углубилась до самого корня дѣла, до вѣчныхъ началъ нашей жизни. Только этимъ объясняется ея успѣхъ; измученныя души, страдавшія долгіе годы или нравственною пустотой, или незаживающею язвой враждебныхъ чувствъ, вдругъ нашли себѣ успокоеніе, и нигилистъ, начинявшій бомбы, съ радостью обратился въ исповѣдника непротивленія.

Если взять вліяніе Толстаго въ полномъ объемѣ этого вліянія, то нельзя не видѣть его добрыхъ слѣдствій, и едва ли можно отыскать какія-нибудь вредныя, хотя вредъ сопровождаетъ обыкновенно и наилушія изъ человѣческихъ дѣлъ. Благодаря Толстому, вездѣ, во всѣхъ слояхъ образованнаго общества поднялись вопросы нравственности и религіи, т. е. возникъ такой интересъ, который глубоко спалъ и, казалось, былъ погребенъ навѣки. Какъ этому не радоваться! Люди, для которыхъ церковная проповѣдь не имѣла никакого значенія, которые жили одними приличіями, выгодами и удовольствіями, или же только злобились, не находя для себя другихъ мыслей и другаго дѣла, кромѣ вражды къ окружающему ихъ строю

жизни, эти люди вдругъ почувствовали въ себъ пробуждение религіозныхъ идей, пробуждение совъсти, поняли, до какой степени они были неправы предъ своею душой и предъ ближними, — и это ихъ умиротворило, подняло, оживило.

И это не у насъ только, въ Россіи; — благотворное вліяніе нашего великаго писателя отзывается и у другихъ народовъ, въ странахъ давняго образованія. Вотъ что писалъ М. Вогюэ въ началѣ прошлаго года въ *Письмахъ о современномъ положеніи Франціи*:

"Среди высшей культуры, среди молодежи вполнъ образованной и сознательно относящейся къ самой себъ, перемъна въ настроеніи умовъ поразительна; ее можно резюмировать въ нѣсколькихъ словахъ: пробужденіе идеализма, доказанное вкусами и первыми произведеніями этой молодежи въ литературъ, философіи и искусств'є; широкая терпимость и даже живая симпатія ко всёмъ формамъ религіозной идеи; серіозное исканіе смысла жизни, возрастающій интересь къ религіознымъ вопросамъ, большое равнодушіе и даже нікоторое презрівніе къ чистой политикъ; безусловная потребность искренности въ отношении къ самому себъ и другимъ, а потому несомненное отчуждение отъ революціонныхъ догматовъ и отъ условныхъ фразъ, которыми воть уже стольтие обольшають нашу страну". "Распространеніе русской литературы играєть значительную роль въ этомъ новомъ теченіи. Когда спрашивають у самыхъ выдающихся изъ этихъ молодыхъ людей, какая книга имъ больше всего по душѣ, многіе отвѣчаютъ: Война и миръ"*).

Вогюэ говорить здёсь вообще объ умственномь движеніи во Франціи и характеризуеть настроеніе избранной части молодежи, именно той, которая подаеть надежду духовнаго обновленія. Читатель легко увидить, какія изъ черть этого настроенія были поддержаны или даже возбуждены Толстымъ, котораго такъ хорошо истолковаль своимъ соотечественникамъ самъ же Вогюэ **).

Мы видимъ изъ этого, что французы радуются доброму вліянію Толстаго, и можемъ только желать, чтобы и у насъ усиливалось и распространялось это вліяніе.

X.

Нужно сказать хоть нѣсколько словъ о томъ вредѣ, на который иногда жалуются, когда говорять о наставленіяхъ Толстаго. Въ сущности, если вникнемъ хорошенько въ дѣло, то окажется, что

^{*)} Русское Обозрпніе. 1890, мартъ, стр. 387.

^{**)} См. Vogüé. Le roman russe, Par. 1886, стр. 279—340. Также мою книгу: Критическія статьи объ Н. С. Тургеневь и Л. Н. Толстомъ, изд. 2, Спб. 1887, стр. 458—484.

это только обида для жалующихся, а никакъ не вредъ. Въ самомъ дълъ, какой же можетъ быть вредъ отъ проповѣди безкорыстія, воздержанія и любви къ ближнему? Но последователи этой проповеди часто круго измѣняютъ свой образъ жизни, и въ этой-то перемене многіе видять большую беду. Иногда они описывають ее даже какъ-то трагически: "онъ начитался Толстаго, - говорять они, и разрушилъ свою жизнь!" Истинный смыслъ этой ръчн такой: ему предстояла прекрасная жизнь,та жизнь, которую мы сами ведемъ, - и онъ, безумный, отъ нея отказался. Онъ обижаетъ насъ, протестуя противъ этой жизни, показывая на дель, что будто бы человъкъ не можетъ найти въ ней полнаго удовлетворенія; но онъ дѣлаетъ худо только себъ, потому что настоящее счастье можно найти только въ нашей жизни.

Да, конечно, мы недурно устроились; мы все приладили такъ, что безкорыстія у насъ нѣтъ и въ поминѣ, а напротивъ, каждый стремится захватить какъ можно большую долю всякой корысти, что вмѣсто воздержанія у насъ господствуетъ погоня за всевозможными наслажденіями, и что любовь къ ближнему вполнѣ замѣняется строгимъ полицейскимъ порядкомъ и благоустройствомъ. Но, живя такою жизнью, мы должны быть, по крайней мѣрѣ, снисходительны къ невиннымъ чудакамъ, которые не находять въ ней вкуса.

Л. Н. Толстой превосходно онисалъ намъ нашу жизнь. Облонскіе, Вронскіе, Каренины—это цвѣтъ современнаго строя жизни, со встми его прелестями и бъдами. Мы зачитывались, не понимая, что читаемъ осуждение самимъ себъ. Кажется, что можетъ быть дельнее Каренина, блистательнее Вронскаго, этихъ двухъ образчиковъ петербургскаго міра? Ихъ общественныя положенія принадлежать къ лучшимъ и высшимъ положеніямъ, составляють предметь желаній для многихь и многихъ. Но авторъ безпощадно разоблачилъ намъ образъ чувствъ и мыслей, который сложился въ этихъ людяхъ сообразно съ ихъ жизнью и занятіями, и мы почувствовали жалость и отвращеніе, или, по крайней мірь, должны были почувствовать. Припомните описаніе иностраннаго принца, который мелькомъ является въ романъ и къ которому быль на несколько дней приставлень Вронскій. "Главная причина, почему принцъ былъ особенно тяжелъ Вронскому, была та, что очъ невольно видълъ въ немъ самого себя. И то, что онъ видълъ въ этомъ зеркалъ, не льстило его самолюбію. "Глупая говядина! неужели я такой?" думалъ онъ" (Анна Каренина, ч. 4. въ началъ).

Между тѣмъ, душевный складъ Вронскаго имѣетъ еще не столько отталкивающихъ чертъ, какъ душевный складъ Каренина. Художникъ, вообще, изобразилъ весь этотъ міръ съ изумительною нравственною чуткостью. А насъ все пытаются увѣрить, что только въ этой жизни достигается истинное счастіе и человѣческое достоинство, и что кто отъ нея отказывается, тотъ "разрушаетъ свою жизнь!"

Самый важный доводь, который выставляется противъ послѣдователей Толстаго, состоитъ въ томъ, что они покидають поприще, на которомъ могли бы принести пользу и удовольствіе обществу, и даже государству. Но въдь это - предположение очень сомнительное. Не върнъе ли предположить, что эти люди жили бы только въ свое удовольствіе, или же поступили бы въ толпу тъхъ безчисленныхъ конкуррентовъ, которыхъ главная цёль-добиться большого жалованныя и всякихъ отличій? Государство въ настоящее время, можно сказать, осаждено со встхъ сторонъ все больше и больше нарастающими толпами искателей его денегъ и ранговъ. Между ними идетъ горячее соперничество и, по несчастію, у насъ ніть почти других поприщъ, которыя отвлекали бы къ себв осаждающихъ. Какая же надобность усиливать собою ихъ число?

Очевидно, всѣ эти возраженія—однѣ отговорки. Главная причина, по которой раздражаются противъ Толстаго, состоитъ въ томъ, что онъ глубоко разошелся съ господствующими нравственными понятіями, что онъ противорѣчитъ своему вѣку въ самыхъ внутреннихъ вопросахъ, всегда наиболье дорогихъ человъку. Вы невольно это почувствуете, если послушаете всъ порицанія и крики которымъ онъ подвергается во всемъ міръ. Странно даже представить, что въ концъ девятнадцатаго въка нашлось столько враждующихъ, и горячо враждующихъ, противъ мирнаго писателя и мыслителя. Кажется, мы давно уже привыкли къ самымъ неистовымъ вольнодумствамъ и спокойно ихъ терпимъ; почему же мы вдругъ теряемъ всю нашу просвъщенную терпимость и готовы почти воздвигнуть гоненіе на мысли и слова, выходящія изъ Ясной Поляны?

Можно подумать, что это писатель еще небывалой оригинальности, проповѣдующій что-то неслыханно - новое. Да, самобытности въ немъ не
мало. Каждая строчка имѣетъ у него странную
свѣжесть и новость, какъ будто такъ никто не
говорилъ и не можетъ говорить, кромѣ него. Но
слова его самыя обыкновенныя, и все содержаніе
такъ просто, какъ ни у какого другаго писателя.
Онъ часто описывалъ, какъ родятся и умираютъ
люди, самые обыкновенные люди. Разсказывалъ
также, какъ эти люди охотятся, поютъ, танцуютъ,
скучаютъ на праздникахъ, косятъ сѣно, ходятъ въ
церковь, исповѣдуются и т. д. Онъ разсказалъ недавно, какъ ревнивый мужъ убилъ жену,—случай

вовсе не рѣдкій и бывшій предметомъ безчисленныхъ разсказовъ во всѣхъ литературахъ. Но что бы онъ ни разсказывалъ, онъ на все бросаетъ такой яркій и чистый свѣтъ, что намъ кажется, будто мы въ первый разъ увидѣли и поняли самые обыкновенные предметы. Въ этомъ состоитъ самобытность этого художника.

Таковъ онъ и въ своихъ теперешнихъ нравоученіяхъ. Они удивительны по своей прямотѣ, живости и искренности, такъ что съ большою силой пробуждаютъ любовь и пониманіе тѣхъ глубокихъ душевныхъ потребностей, которыя влекутъ человѣка "жить по Божью". И намъ иногда кажется, какъ будто мы въ первый разъ услышали эти требованія. Но вглядитесь, и вы увидите въ основаніи этой проповѣди все ту же древнюю нравственность, найдете черты христіанскихъ наставленій, которыя натвержены намъ съ дѣтства, но которыя были мертвы въ нашей душѣ и вдругъ воскресли и получили свѣжесть и своеобразіе впервые сознанной истины.

1891, мартъ.

Отвѣтъ на письмо неизвѣстнаго.

Не запрещайте; ибо кто не противъ васъ, тотъ за васъ $\mathcal{A}y\kappa$. 9, 50.

По поводу Толковъ объ Л. Н. Толстомъ мною получено письмо, никакимъ именемъ не подписанное, но поразившее меня и глубокою искренностію тона и существенностію вопросовъ, которыхъ оно касается. Много нынче говорящихъ о благѣ Россіи, о ея назначеніи, объ ея нуждахъ и обязанностяхъ; неизвъстный авторъ привелъ меня въ удивленіе тъмъ, что заговорилъ о себъ, о потребностяхъ своего ума и сердца, т. е. о томъ предметъ, о которомъ прежде всего и больше всего долженъ думать каждый человъкъ, и отъ котораго зависитъ все остальное. Такое настроеніе мыслей мнѣ сочувственно въ высшей степени; это не «мѣдъ звенящая и кимвалъ бряцающій», а голосъ, ъв которомъ отзывается душа говорящаго. Тѣмъ

болѣе мнѣ хотѣлось бы дать нѣкоторый отвѣтъ на строгое осужденіе моей статьи, произносимое этимъ голосомъ. Приведу здѣсь письмо неизвѣстнаго цѣликомъ, не выпуская ни слова, буду только прерывать его своими объясненіями.

«М. Г. Позвольте мнѣ, заурядному русскому «читателю, просто и откровенно высказать вамъ «свое впечатлѣніе отъ статьи вашей въ сентябрь-«ской книжкъ Вопросовъ Философіи и Психологіи. «Прочитавъ этотъ восторженный папегирикъ Л. Н. «Толстому отъ писателя, который всегда взвѣши-«ваетъ и цѣнитъ то, что говоритъ, которому нель-«зя не върить, я почувствоваль себя въ положе-«ніи человѣка, когда отнимають у него самое дра-«гоцѣнное и святое его достояніе, безъ чего ему «трудно и представить свое существованіе. «Боже «мой, —невольно вырвалось у меня, — да что же «такое, наконецъ, есть истина? Гдв она? Зачвиъ «существуетъ въ языкѣ это слово, когда понятіе, «имъ обозначаемое, есть нѣчто въ высшей степени «спорное и условное?»... Въ самомъ дѣлѣ, до сего «времени мы, т. е. я, на ряду со встми, думали, «в врили, что абсолютная истина находится въ «Православной Канолической Церкви, которая есть «единственная хранительница ея чистоты и не-«прикосновенности, и что, следовательно, тамъ и «слѣлуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ

«на тревожные вопросы человъческаго духа. Ока-«зывается, что нътъ; такая въра въ церковь есть «результатъ стараго невъжества, духовной лъности «и суевърія. Насъ настойчиво и соблазнительно «приглашаютъ къ другимъ учителямъ, къ другимъ, «просвъщеннъйшимъ авторитетамъ. За къмъ же «идти, кого слушать—Толстаго или церковь, имъ «отвергаемую и хулимую?»

Такова общая постановка дѣла, та мысль и то чувство, на основаніи которыхъ неизвѣстный осуждаетъ мою статью. «Гдѣ истина?» спрашиваетъ онъ, гдѣ «слѣдуетъ искать удовлетворительныхъ отвѣтовъ на тревожные вопросы человѣческаго духа?»—и упрекаетъ меня за то, что я будто бы приглашаю его покинуть авторитетъ церкви, составлявшій для него «самое драгоцѣнное и святое достояніе», и «настойчиво приглашаю» слѣдовать другому авторитету.

Понятно, съ какимъ чувствомъ произносятся столь важные упреки, а между тѣмъ моя статья ихъ вовсе не заслуживаетъ. Авторъ письма, очевидно, съ тревогою искалъ у меня отвѣта на вопросъ, который очень его занимаетъ, но котораго я вовсе не касаюсь. Именно, я ничуть не брался указывать, гдѣ истина; я ни слова пе говорилъ ни объ авторитетѣ церкви, ни объ отношеніяхъ Л. Н. Толстого къ этому авторитету; я не разби-

ралъ никакого положенія, никакого ученія и не предлагалъ слѣдовать тому или другому.

Отъ всего подобнаго я воздержался именно потому, что вполнъ понималъ важность этихъ вопросовъ, зналъ, какъ трудно объ нихъ говорить, и вовсе не хотёль ихъ касаться. Если искать въ моей стать в какого нибудь положительнаго указазанія, то можно увидеть разве одно, - что нужно следовать Христу; но и этого я прямо не говорю. Въ статъв моей нътъ никакихъ намековъ и подразумѣваній; цѣль и смыслъ ея совершенно просты и ясны. Мнъ хотълось отчетливо показать истинную серіозность, чрезвычайную глубину религіознаго стремленія у Л. Н. Толстого; я старался объяснить, что въ основъ этого стремленія лежать правственныя требованія, что они присутствують во всемь, что онъ писаль и делаль; я указываль на его горячія, неутомимыя исканія, на то, какъ эти исканія привели его къ Христу; наконецъ, я сопоставилъ это явленіе съ состояніемъ нашего общества, сбившагося со встхъ путей и страдающаго пустотою и нравственными уродливостями, и заключилъ, что поворотъ умовъ, произведенный Л. Н. Толстымъ, имфетъ благотворное значеніе и дъйствіе.

Таково содержаніе моей статьи. Если я тутъ что нибудь пропов'єдываль, то, кажется, пропов'є-

дывалъ то, противъ чего никто не можетъ возразить. Нравственная чуткость и серіозность, полная преданность требованіямъ совѣсти, исканіе истины всею душою, чтеніе и изученіе Писанія, пожертвованіе всякими низшими благами ради высшихъ,—вотъ чему я писалъ «панегирикъ», чему «настойчиво приглашалъ слѣдовать». Т.-е. я собственно хвалилъ не какое-нибудь «слѣдованіе», а лишь неустанную работу ума и совѣсти.

Авторъ письма замѣтилъ эту мою главную тему. Хотя сперва онъ приписалъ мнѣ вопросы, за которые я не брался, но вслѣдъ за приведенными словами онъ пишетъ:

«Говорять: ступайте късамому источнику въры, «къ Евангелію, читайте и просвъщайтесь. Легко «сказать: «читайте и просвъщайтесь». Я очень хо- «рошо знаю просвътительную силу Слова Божія, «но знаю также и то, что умъ мой, сердце мое «загрязнены, нечисты, что въ нихъ, какъ въ не- «опрятныхъ сосудахъ, Слово Божіе легко можетъ «замутиться, отразиться въ ненастоящемъ своемъ «видъ и смыслъ. Зная это, я и спрашиваю, къ «кому же идти, —къ Толстому, или къ матери Церк- «ви? Л. Н. Толстой отрицаетъ Церковь, признаетъ «лишь свою совъсть, свой личный разумъ мъри- «ломъ истины (это ли не раціонализмъ?), но слъ- «довать за нимъ по этой дорогъ положительно

«опасно, да и нельзя, потому что я не върю ни «въ чистоту своей совъсти, ни въ непогръшимость «своего разума».

Вотъ постановка дѣла очень исная, внушенная, очевидно, сердечнымъ пониманіемъ самаго существа дѣла. Дѣйствительно, главнѣйшій, глубочайшій нашъ вопросъ есть сознаніе нечистоты нашей совѣсти и погрѣшимости нашего ума. Если въ насъ живо это сознаніе, то мы чувствуемъ настоятельную надобность въ помощи, въ руководствѣ. Отсюда понятно, какой существенной потребности удовлетворяетъ авторитетъ церкви, какъ хранительницы истины, почему этотъ авторитетъ можетъ быть названъ "самымъ драгоцѣннымъ и святымъ достояніемъ" человѣка.

Но на этихъ общихъ положеніяхъ нельзя же остановиться. На томъ основаніи, что совъсть наша нечиста, а умъ погръшимъ, мы не должны и не можемъ вовсе отказываться отъ дъйствія своей совъсти и своего ума. Напротивъ, какъ скоро въ совъсти и умъ проснулось сознаніе ихъ недостаточности, они должны употреблять всъ усилія довести это свое сознаніе до отчетливаго пониманія, а затъмъ и бороться противъ этой недостаточности. Намъ слъдуетъ не коснъть въ чувствъ своей слабости, а напротивъ, всъми мърами возвышать чуткость нашей совъсти и нашего разума. Только

въ такомъ случат мы будемъ усердно искать руководства и помощи, и только въ такомъ случат они могутъ быть намъ полезны. Хотя душа наша есть "загрязненный и неопрятный сосудъ", но мы ничего не можемъ воспринять иначе, какъ этимъ сосудомъ. Если мы не будемъ заботиться объ его очищени, то загрязнится и исказится самое чистое содержание, которое будетъ въ него влито.

Но, кажется, намъ нужно взглянуть на нашу бъду еще съ другой стороны. Мы дурны и жалки не потому, что указанія нашей сов'єсти не всегда върны, и что умъ нашъ легко впадаетъ въ погрѣшность, а больше всего потому, что мы не слѣдуемъ самымъ яснымъ указаніямъ совъсти, и что мы не работаемъ своимъ умомъ. Совъсть и умъ, если не спятъ въ насъ совершенно, то почти всегда только дремлють, а не бодрствують. На качество нашей совъсти и нашего ума часто мы не въ правъ особенно жаловаться. Попробуйте спросить кого нибудь изъ насъ о его нравственныхъ понятіяхъ, и вы увидите, что почти всв мы недурно различаемъ добро отъ зла; попробуйте испытать у насъ силу ума, и вы найдете многихъ, способныхъ ясно судить и понимать. Тутъ нътъ ничего удивительнаго: мы воспитаны въ христіанствъ, мы растемъ на книгахъ, и съ дътства намъ доступны примъры и наставленія древнихъ и новыхъ мудрецовъ, мыслителей и великихъ писателей. И между тъмъ, мы остаемся слабыми и дурными людьми. Наша совъсть сознательно отступаетъ передъ малъйшимъ соблазномъ и подается передъ самымъ легкимъ давленіемъ. Нашъ умъ грѣшить больше всего не тъмъ, что ошибается, а тъмъ, что обращенъ на потъху нашего тщеславія, отворачивается отъ предметовъ важныхъ и глубокихъ, уклоняется отъ всякаго усилія, довольствуется словами и верхушками, не движется твердо, а только зыблется по вътру. Чрезвычайно ръдко можно найти людей, которые искренно и усердно служать своей совъсти и своему уму, - и это соль земли, снасающіе насъ праведники. Не мало, конечно, такихъ, у которыхъ совъсть и умъ искажены, но первый признакъ этихъ людей тотъ, что они служатъ какимъ нибудь другимъ богамъ. Обыкновенное же явленіе то, что люди обладають и довольно чистою совъстью, и довольно свътлымъ умомъ, слъдовательно, внолнъ могли бы быть добрыми и правомыслящими, а между тъмъ не имъють ни истинной доброты, ни правильныхъ взглядовъ, и только развѣ иной близкій знакомый знаетъ, что въ дишъ они вовсе не безсовъстные и пустые люди. Недостатокъ серіозности въ душахъ-вотъ самое обыкновенное зло. Жизнь становится теперь все легче и легче, и, можеть быть, потому надаеть въ насъ душевная энергія, съуживаются и мельчаютъ наши радости и горести, уменьшаются размфры всякаго напряженія. Вотъ въ какомъ отношении въ Л. Н. Толстомъ, мнѣ кажется, можно видъть великій и поучительный примѣръ; онъ образецъ истинной серіозности въ дълахъ ума и совъсти. Для него стали важнъйшимъ дъломъ жизни тъ "тревожные вопросы человъческаго духа", о которыхъ говоритъ авторъ письма и которые другихъ тревожатъ такъ слабо, что не имъютъ никакого значенія въ ихъ дъятельности. Вотъ чему я "настойчиво приглашаю следовать", если можно такъ истолковать чисто аналитическій тонъ моей статьи. Постоянная работа, неустанный трудъ ума и совъсти, - таково условіе, безъ котораго намъ будеть безполезна всякая помощь и руководство, и при которомъ мы непремънно выйдемъ на правильный путь. Раціонализма я не пропов'ядываль; напротивь, я сказалъ, что онъ невозможенъ. Но всегда нужно опасаться, какъ бы мы, отрицая безусловный раціонализмъ, не вздумали при этомъ отказываться отъ своего ума и своей совъсти.

Письмо продолжается такъ:

"Я не вѣрю ни въ чистоту своей совѣсти, ни "въ непогрѣшимость своего разума. Положеніе, "какъ видите, было бы весьма серіозное и траги"ческое, если бы я имѣлъ несчастіе оторваться "отъ народа, какъ большинство нашей интелли"генціи. Вы указываете на народность идей графа "Толстаго, на чистый источникъ, откуда почерп"нуто имъ его настоящее міросозерцаніе; но смѣю "увѣрить васъ, да вы и сами это знаете, что "между религіозными мнѣніями автора Исповиди "и Въ чемъ моя впра и нашимъ "народнымъ ду"хомъ" и народными идеалами—цѣлая непрохо"димая бездна".

Какъ видятъ читатели, здёсь противъ меня выставлены только голословныя утвержденія, а потому и отвѣчать я могу голословно. Статья моя настаивала на сходствъ воззръній Л. Н. Толстаго съ народными возэрѣніями; авторъ письма настаиваетъ на ихъ различіи. Но вѣдь тутъ нѣтъ еще противоръчія, ибо великое различіе въ одномъ отношеніи не мішаеть великому сходству въ другомъ отношеніи. Различія я не скрываль; напро-Тивъ, доказывалъ, что мы всѣ въ этомъ случаѣ не можемъ достигнуть полнаго тожества. Это нужно всегда помнить, а также и то, что, какъ скоро намъ открылось внутреннее глубокое сходство, всякія разницы уже не могуть имъть первостепеннаго значенія. Очевидно, тутъ все зависитъ отъ нашего взгляда на самое существо дела. Въ этомъ отношеніи, я уб'єдился, что у насъ господ-

ствуютъ чрезвычайно смутныя и неправильныя понятія, и, къ великому сожальнію, почти вовсе нътъ попытокъ разъясненія и исправленія этихъ понятій, а существуєть въ избыткъ только вражда и пререканія. Почти нельзя говорить, потому что не на что опереться, нътъ въ умахъ ни одной вполнъ твердой и ясной точки. Приходится мнъ здёсь лишь голословно повторить, что, усердно и долго вникая въ эти вопросы, я не могу думать иначе, чъмъ думаю, т. е., что есть величайшее и коренное сродство между народными воззрѣніями и настроеніемъ Л. Н. Толстаго. Эти слова, разумъется, немного значатъ, если не связать съ ними опредёленнаго значенія. Но, по невол'є, вся моя статья наполнена подобными общими темами н указаніями, требующими подробнаго развитія. Мнѣ очень жаль, что авторъ письма остановился только на одной изъ этихъ темъ, и то лишь для того, чтобы голословно ее отрицать.

Письмо оканчивается слёдующимъ образомъ;

"Л. Н. Толстой—великій, сильный умъ, геніаль-"ный художникъ (кто же когда это отрицалъ?), "но умъ, безспорно, заблуждающійся, а потому "одно сантиментальное поклоненіе его таланту "болѣе, чѣмъ неумѣстно,—оно преступно. Людямъ, "для которыхъ истина дороже всякаго земного "кумира, слѣдовало бы, вмѣсто куренія еиміама, "отъ котораго Толстому и такъ нездоровится, не-"престанно ему указывать, что путь, на которомъ "онъ стоитъ и на который увлекаетъ другихъ,— "путь погибельный. Это было бы лучшимъ спосо-"бомъ выраженія къ нему любви и уваженія, какъ "къ великому русскому писателю и великому рус-"скому человѣку".

"Одинъ изъ смертныхъ".

Очевидно, это очень искренній патетическій тонъ, и я не могу не сожалѣть, что возбудилъ такое негодованіе. Но прошу пожалѣть и меня. Почему же не обращено вниманія ни на одно мое разсужденіе, ни на единую связь моихъ мыслей? Какъ писать, когда вся точность выраженій, вси строгость и сдержанность выводовъ исчезаетъ передъ глазами читателя, и онъ видитъ только «восторженный панегирикъ», «сантиментальное поклоненіе», «куреніе виміама»? Прошу извиненія; можетъ быть, въ моей статьѣ очень слабы тѣ качества, на которыя я указалъ; но я очень старался достигнуть этихъ качествъ, и мнѣ грустно, что и эти старанія остаются незамѣченными.

Кто-то мнѣ сказалъ, что мои Толки есть только «адвокатская рѣчь». Пусть и такъ, но, надѣюсь, не въ смыслѣ всякой лжи и натяжекъ, какими ославили себя адвокаты, а лишь въ томъ смыслѣ,

что у меня берется только одна сторона дѣла. Дѣйствительно, я пытался опредѣленно указать положительныя стороны явленія, которое всѣхъ занимаеть. Но вѣдь эти стороны—самыя важныя и для пониманія предмета, и для практическаго къ нему отношенія. Совершенно напрасно мы вѣчно спрашиваемъ объ одномъ: кому слъдовать? Требуется, напротивъ, знать, въ чемъ мы обязаны слѣдовать каждому, кому бы то ни было? Порицать Толстаго — дѣло почти вовсе безплодное; нужно, напротивъ, имъ пользоваться, нужно уловлять для себя огонь и свѣтъ, которыми передъ нами горитъ эта душа.

16 дек. 1891 г.

The to and existing the most Phase sent entire extensives phase. Hyere a rate, no, marketes, no extensive extensive

Справедливость, милосер-

Теперь много говорять и пишуть о благотворительности, и вообще о нравственности. Это превосходно; совершился какой-то поворотъ умовъ въ эту сторону, и дай Богъ, чтобы онъ никогда не останавливался и не ослабъвалъ. Но еще лучше то, что люди теперь не только разсуждають о добрѣ, а и дѣлаютъ добро. Нельзя безъ радости подумать о безчисленныхъ благод вніяхъ, поприщемъ которыхъ была въ нынфшнюю зиму Россія. Мы знаемъ объ нихъ только очень смутно, очень отрывочно; но, какъ говорится, "въ воздухѣ носится" то чувство великодушія, тотъ порывъ любви къ ближнему, которому отдалось множество частныхъ людей и здёсь, и особенно тамъ, на мѣстахъ бъдствія. Для душъ, жаждавшихъ дъятельности, для сердецъ, томившихся житейскою тоскою, открылся прямой и свётлый выходъ, и они, жертвуя своимъ имуществомъ, временемъ и силами, почувствовали въ себѣ полноту жизни и просвѣтлѣли духомъ.

Среди этихъ отрадныхъ явленій показались, конечно, и разныя темныя черты. Одна изъ нихъ, по моему, очень печальная, есть та путаница понятій, которая замѣтна въ нынѣшнихъ безчисленныхъ толкахъ и спорахъ о нравственныхъ вопросахъ. Такъ какъ мы христіане, то, какъ бы мы ни блуждали нашими мыслями, какъ бы дурно ни жили, мы никогда не можемъ вовсе потерять чувство истиннаго идеала человъческой жизни. Но мы обыкновенно ничуть не заботимся о томъ, чтобы привести въ ясность свои понятія объ этомъ идеаль; и туть, какъ всегда, мы больше любимъ говорить и дъйствовать, чъмъ думать. Между тъмъ, если что не кръпко у насъ въ умъ, то не будеть вполнъ кръпко и въ жизни; если мы не видимъ своихъ путей, то будемъ въчно съ нихъ сбиваться и понапрасну тратить силы; наконецъ, мы заводимъ ссоры и всякую злобу, если не умфемъ понимать того, что делають другіе.

I.

Три ступени.

Прежде всего нужно ясно и точно различать тѣ ступени, но которымъ мы можемъ и должны подниматься къ нравственному совершенству. И въ нравственности, какъ и во всемъ на свътъ, нужно разбирать, что важнъе и существеннъе, что ниже и что выше. Главныхъ ступеней въ нравственной дѣятельности три; справедливость, милосердіе и святость. Это давно извъстно, объ этомъ безъ конца писано и думано, но мы постоянно успъваемъ забывать объ этомъ и выбираемъ себѣ правила по своимъ личнымъ вкусамъ. Во первыхъ, мы должны соблюдать во всёхъ нашихъ дёлахъ справедливость, т. е. никого не обманывать, никому не вредить, ничъмъ не нарушать чужихъ правъ и интересовъ, а всегда и вездъ отдавать каждому свое. Если кто неизмѣнно и твердо держится такого поведенія, то мы называемъ его честнымь челов комъ, на котораго можно положиться во всёхъ дёлахъ и отъ котораго нельзя ожидать никакого зла. Но это лишь первая ступень нравственной жизни. Совъсть больше или меньше подсказываеть каждому изъ насъ, что слѣдуетъ подыматься выше. Вторая ступень есть милосердіе, любовь къ ближнимъ. Мало того, чтобы никому не вредить, нужно всемъ помогать. Мало того, чтобы быть честнымъ, нужно быть добрымь. Когда человъкъ полюбитъ такое душевное настроеніе и такую діятельность, то онъ во всякомъ дёлё будетъ думать не о своей пользё,

а о пользъ другихъ, онъ захочетъ, наконецъ, всего себя, всю свою жизнь отдать на служение ближнимъ. Обыкновенно это и считаютъ высшимъ идеаломъ нравственности. Но есть еще ступень, и ступень несомнительная, открывающаяся яснъе или темнъе каждой христіанской душъ. Мало быть честнымъ, мало быть добрымъ, нужно быть чистымъ, нужно быть святымъ. Тутъ, и только туть-конець всякаго совершенствованія, тутьисполнение высокой заповъди: будьте совершенны, какъ Отецъ вашъ небесный. Побороть въ себъ грехъ, откинуть то безпокойство, тотъ стыдъ, то рабство и мученіе, въ которомъ мы живемъ, всю эту внутреннюю (а не одну внѣшнюю) бѣдственность нашей жизни--воть къ чему стремится тотъ, кто ищетъ святости, чему онъ учитъ честныхъ и добрыхъ дюдей и чемъ укрепляетъ въ нихъ ихъ честность и доброту.

Но не будемъ забъгать впередъ. Сперва сдълаемъ замъчаніе, что эти три ступени суть ступени совершенно *твердыя*, т. е. такія, что на какой бы изъ нихъ человъкъ ни находился, онъ можетъ на ней спокойно жить и дъйствовать, хотя бы не былъ способенъ подняться на высшую ступень. Это значить, что каждая изъ нихъ имъетъ свой строгій принципъ, изъ котораго послъдовательно вытекаютъ правила, обнимающая всъ житейскія отношенія. Такимъ образомъ, люди стоящіе на разныхъ ступеняхъ какъ будто смотрятъ на жизнь съ разныхъ точекъ зрѣнія, и отъ этого происходитъ, что не только большею частію они довольствуются своею ступенью и упорно стоятъ за нее, но даже начинаютъ враждовать съ тѣми, кто стоитъ на другихъ ступеняхъ.

II.

Справедливость.

Принципъ справедливости есть право. Поступать справедливо значить совершать только такія дъйствія, на которыя я имью право. А право я имъю дълать все, въ чемъ мое благо не противорвчить благу другихъ людей. Въ этихъ границахъ я свободень, и каждый имветь право на такую свободу. Это не значить, чтобы мы какъ нибудь уже раждались съ этими правами. Нътъ, очевидно, эти права-плодъ человъческаго разума, плодъ долгой исторіи. Теперь мы за каждымъ челов вкомъ признаемъ достоинство личности, признаемъ, такъ сказать, законность каждаго эгоизма, и требуемъ только, чтобы всё эгоизмы уравновёшивались, не мѣшали другъ другу. Ибо таково самое простое и самое общее разръшение задачи мирнаго сожительства людей. А для того, чтобы

этоть порядокъ соблюдался, мы устроили государство, котораго первая и неотложная обязанность есть именно огражденіе правъ каждаго лица, устраненіе всякой несправедливости. Конечно, государство можетъ дъйствовать только внъшнимъ образомъ, только силою, а потому оно и ограничиваетъ свои дъйствія лишь тъмъ, что можетъ быть вынуждено, то есть ограждаетъ только наши внъшнія права и устраняетъ только нашу внъшнюю несправедливость. Но все-таки, энергіи частныхъ эгоизмовъ открывается огромный просторъ, и жизнь новыхъ государствъ кипитъ съ такою силою, какой до сихъ поръ еще не видала исторія.

Напрасно, однако же, нѣкоторые мрачные люди думають, что только полиція мѣшаеть намь грабить и убивать другь друга, что общество держится въ порядкѣ только страхомъ насилія и наказанія. Напротивь, юридическій порядокъ главнымъ образомъ сохраняется тѣмъ нравственнымъ началомъ, которое въ немъ есть. Намъ всегда пріятно думать, что своими дѣйствіями мы никого не обижаемъ, что мы въ правѣ поступать, какъ пуступаемъ. Мы сознательно и заботливо избѣгаемъ всякой несправедливости, почему и выходитъ, что наши дѣла и сношенія почти исключительно основаны на одномъ взаимномъ довѣріи. Честность есть требованіе столь простое, понятное и легко

исполнимое, что мы очень стыдимся нарушать его, и чужая несправедливось возбуждаетъ въ насъ гораздо больше негодованія, чёмъ какой нибудь злобный или грёшный поступокъ. Поэтому, государство со своими юридическими формами есть истинная школа первоначальной нравственности— оно учитъ различать свое и чужое право. Поэтому, мы хорошо дёлаемъ, когда не только уважаемъ права другихъ, не и отстаиваемъ свое собственное право. Если мы отступаемся отъ него сознательно, приносимъ его въ жертву чему нибудь высшему, то, конечно, это недурно; но если пренебрегаемъ своимъ правомъ по одной лёни или слабости, то мы прямо вредимъ юридическому строю общества.

Свободно и легко мы двигаемся въ этомъ твердомъ строѣ; каждый живетъ какъ хочетъ и какъ
умѣетъ. Инымъ даже скучно становится отъ этой
легкости и свободы, и они ищутъ для себя какойнибудь лямки, какого-нибудь ярма, чтобы наполнитъ свою жизнь. Другіе распоряжаются собою
такъ усиленно и такъ дурно, что быстро истрачиваютъ свою жизнь и доходятъ до сумасшествія и
до самоубійства. Но во всякомъ случаѣ, едва ли
можно повѣрить, чтобы при другомъ порядкѣ, напримѣръ, при такомъ, о которомъ мечталъ Фурье,
а за нимъ Черныщевскій, получилось бы у людей
больше труда и удовольствія, чѣмъ теперь, когда

каждый съ утра до вечера только и думаетъ, только и хлопочетъ о своей выгодъ и своей забавъ.

III.

Милосердіе.

Между тъмъ, юридическій порядокъ, какъ всъ мы знаемъ, еще не ручается намъ за добрыя отношенія между людьми и не устраняеть злыхъ отношеній. Люди находять тысячи средствъ и путей, чтобы, оставаясь въ предвлахъ закона, двлать зло другь другу, обижать, угнетать, доводить до отчаянія и гибели. Вообще, каждая свободная сдёлка, каждый добровольный обмёнь, даже каждый разговоръ, можеть быть или взаимною услугою, или же взаимною борьбою. А въ борьбъ слабый можеть пострадать отъ своей слабости, а сильный злоупотребить своею силою; воть отчего, понемногу и незамѣтно, безъ всякаго нарушенія права, слабые часто бываютъ совершенно задавлены, а сильные все растуть и растуть въ своей силь. Законъ туть не можеть ничему помочь, потому что онъ можеть только устранять всякую внъшнюю насильственность борьбы, но не можеть предписать внутренняго согласія Законъ, вообще, не предписываетъ того, исполнение чего онъ не можетъ вынудить; слъдовательно, онъ не имъетъ никакой власти надъ нашими чувствами и нашими мыслями, а слѣдовательно, безсиленъ и относительно того зла и добра, которое зависить отъ нашихъ чувствъ и мыслей. Но въ самомъ внутреннемъ мірѣ человѣка, недоступномъ закону и насилію, есть другое начало, которому человѣкъ можетъ только свободно подчиняться и которое одно только способно уничтожать противорѣчія нашихъ правъ и обращать борьбу эгоизмовъ въ содѣйствіе и согласіе. Это начало—доброта сердца, милосердіе, любовь къ ближнимъ.

Легко видъть, что это дъйствительно новая и особенная ступень нашей нравственности. Всъ истинно добрые люди, конечно, въ тоже время и честные люди; но не наобороть: многіе честные люди не бывають добрыми. Изъ этого различія выходять противорьчія, а изъ противорьчій даже противодъйствіе и вражда. Любящій ближняго часто не цвнить и не соблюдаеть своихъ правъ, не прибъгаетъ къ юридическому принужденію, свое имущество считаетъ собственностью бъдныхъ, свои силы и труды тратить на другихъ безъ всякаго вознагражденія. Ибо любовь все терпить, все прощаетъ и своего не ищеть, какъ говорить апостолъ. Если бы всѣ были любящіе, то государственный строй потеряль бы свою главную надобность, и естественно, что любящие становятся рав-

нодушными къ этому строю. Для себя они, конечно, правы, но не для другихъ. Если бы благодъянія совершались только между любяшими другъ друга, то, действительно, всякія юридическія формы были бы лишнія. Но обыкновенно люди, преданные дёламъ любви, стоятъ на одной ступени нравственности, а тъ, кому они благотворять, на другой, низшей. Благотворитель дайствуеть такъ, какъ будто нуждающіеся стоятъ съ нимъ наравнѣ; но этимъ онъ часто успѣваетъ только сбить ихъ съ той твердой ступени, на которой они стояли. Извѣстно, что благодѣянія портять людей, делають изъ нихъ тунеядцевь и попрошаекъ, къ великому огорченію благотворителей. Поэтому государство вынуждено даже ограничивать и регулировать практику благотвореній. Оно справедливо находить, что его собственный порядокъ крѣпче, надежнье, потому что больше соотвътствуетъ общему уровню человъческой нравственности.

Какъ бы то ни было, но нётъ сомнёнія, что взаимная любовь, взаимное милосердіе, жизнь для другихъ, а не для себя есть единственное средство устранять всякое зло, возникающее отъ людскихъ отношеній и облегчать всякое страданіе, причиняемое намъ внёшнею природою. Для земной жизни это идеалъ, не замёнимый никакими дру-

гими идеалами. Многихъ онъ пленяетъ не какъ зрёлище нравственной красоты, а какъ картина возможнаго благополучія, и они ждуть въ грядущихъ въкахъ осуществленія такого земного рая, и считають долгомъ, чемъ только могуть, содействовать его приближенію, хотять быть не просто добрыми людьми, а благод втелями челов вчества. Это прекрасныя намеренія, прекрасныя мечтанія, но странно, что не всегда замъчаютъ недостижимость той последней цели, къ которой они направлены. Бъдственность человъческаго существованія такова, что устранить ее ничто не можетъ. Мы всегда носимъ въ себъ внутренняго врага, наши желанія, которыя вёчно обновляются, постоянно не дають намъ успокоиться и часто поглощають всю нашу душу. И у насъ есть внъшній врагь, неодолимый и неизб'єжный — смерть. Если бы всв люди были проникнуты братскою любовью другь къ другу, то страданія человіческія в роятно не уменьшились бы, а увеличились. Теперь, когда мы живемъ эгоистами, чужія быдствія и мученія для насъ ничего не значать, и мы спокойно смотримъ, какъ смерть вокругъ насъ "коситъ жатву жизни". Но, если бы мы чувствовали состраданіе къ несчастнымъ, если бы истинно любили умирающихъ, то насъ не должна бы была никогда оставлять печальная и горькая дума.

Слезы людскія, о слезы людскія, Льетесь вы ранней и поздней порой, Льетесь безвъстныя, льетесь незримыя, Неистощимыя, неисчислимыя, Льетесь, какъ льются струи дождевыя Въ осень глухую порою ночной.

Это не гипербола сострадательнаго поэта, это чистая истина. А чёмъ можетъ быть утёшенъ человёкъ въ потерё близкихъ, дорогихъ людей? Эти утраты невознаградимы и неизгладимы. Тутъ можно прямо сказать, что кто больше любитъ, тотъ больше и страдаетъ. Между тёмъ, смерть не только не возвращаетъ тёхъ, кого взяла, но и грозитъ каждому изъ живущихъ съ нами. И слёдовательно, кто больше любитъ, тотъ подъ большимъ страхомъ и живетъ. Пушкинъ, вспоминая объ умершихъ друзьяхъ, говоритъ:

И смерти духъ средь насъ ходилъ И навначалъ свои закланья.

Этотъ "духъ смерти" ходитъ среди насъ постоянно, онъ непремѣнный гость всѣхъ нашихъ собраній, и пировъ, и похоронъ, и онъ не перестаетъ «назначать свои закланья». Если такъ, то когда же возможна для любящаго спокойная радость, даже если онъ забудетъ, что его самого ждетъ неизбѣжная болѣзнь и смерть?

IV.

Святость.

И такъ, любви къ людямъ еще недостаточно, ни для того, чтобы самому достигнуть покоя и свъта, ни для того, чтобы содъйствовать истинному благополучію другихъ. Нужно опять усилить наши требованія, нужно подняться на новую ступень нравственности. Святость именно въ томъ и состоить, что человькъ становится выше своихъ желаній, своей природы, и выше смерти и всякаго страданія. Это полная чистота души и полная преданность волѣ Божіей. Когда у человъка нътъ своихъ желаній, нътъ заботы и страха, онъ смотритъ на все, какъ безплотный духъ, онъ стоить на точкъ зрънія вычности: тогда онь какъ будто «вновь родится», и въ душѣ его открываются источники лучшей жизни, вполнъ чистыхъ чувствъ и силъ. Болѣзнь, страданіе и смерть составляють для такого челов ка только поводь и побуждение подняться въ область святости, отръшиться отъ себя и отъ міра. Ищущіе святости часто съ радостію встръчають эти поводы, и даже ищутъ всякихъ лишеній, чтобы воспитывать въ себѣ духъ чистоты.

Животныя счастливъе насъ потому, что они

живутъ минутою, что для нихъ не существуетъ прошедшаго и будущаго, и если мы иногда радостно проводимъ нашу обыкновенную жизнь, то только потому, что очень способны забываться, терять изъ виду все, что впереди и позади текущаго дня. Но изнанка жизни безпрестанно раскрывается передъ нами и прерываетъ наши радости и забавы. Когда поэтъ успѣваетъ

Ударить по сердцамъ съ невъдомою силой,

то онъ вѣдь только будить въ насъ то чувство бѣдственности и тоски, которое таится въ сердцѣ каждаго, и мы очень любимъ такихъ поэтовъ. Представимъ же, что мы вздумали вести себя съ полнымъ сознаніемъ, то есть истинно по человѣчески, не забывая прошлаго и не закрывая глазъ на будущее; тогда намъ останется только одинъ выходъ-шскать настроенія святости, смотрѣть на все съ точки зрѣнія вѣчности и говорить себѣ вмѣстѣ съ святою Терезой: «ничѣмъ не смущайся и ничего не бойся: все проходитъ, Богъ остается неизмѣннымъ».

Святость обыкновенно извъстна намъ только по слуху. Многіе вовсе не върять въ ея существованіе, считають ее невозможной, и самое исканіе святости признають чъмъ-то нельпымъ и вреднымъ. Въда туть въ томъ, что не только каждый,

по давнишнему замвчанію, бываеть доволень своимъ умомъ, но каждый вступается и за свои нравственныя понятія и обижается, когда ему покажуть, что тѣ правила, по которымъ онъ живеть, не самыя лучшія. Въ этомъ отношеніи мы бываемъ очень наивны. Человъкъ, сотрудничающій въ журналахъ, или ежедневно ходящій въ лавку или въ департаментъ, бываетъ претвердо увъренъ, что онъ приносить пользу человъчеству, и что вполнъ стоитъ тъхъ денегъ, которыя получаетъ. Между тъмъ, это еще очень сомнительно; мы всъ пользуемся темъ порядкомъ, движеніемъ, осмысленнымъ складомъ отношеній, которые созданы не нами, усиліями не нашего ума и не нашей воли, и мы со своей стороны часто вносимъ сюда только безсмысліе и только портимъ діло. Если ужъ рѣчь пошла о благѣ человѣчества, то дай Богъ всякому быть увъреннымъ лишь въ томъ, что онъ былъ безвреденъ, что ничего не напортилъ, не потребилъ больше человъческихъ силъ и трудовъ, чемъ сколько самъ принесъ. Монахъ, живущій подаяніемъ, отрекшійся отъ всякихъ общественныхъ связей и убъгающій въ пустыню, съ одной стороны, конечно, дерзокъ, заявляя себя прямо искателемъ святости, но, съ другой стороны, онъ скроменъ и можетъ, по крайпей мѣрѣ, навърно считать себя безвреднымъ.

Нигдъ понятія о святости не имъютъ такой твердости и ясности, какъ въ нашемъ простомъ народъ. У этого темнаго народа только одинъ этотъ свътъ и есть, за то такой свътъ, передъ которымъ ничто все наше просвъщение. Въ "Власти тьмы" есть несравненно-геніальная сцена, въ которой учителемъ святости является безобразнопьяный солдать Митричь. Онъ учить Никиту не бояться людей, и тогда тотъ идетъ каяться передъ всёмъ народомъ и добровольно принять наказаніе. Если человъкъ не станетъ бояться людей, то онъ будетъ всегда и вездъ свободенъ и спокоенъ, потому что будеть бояться только Бога, только своей совъсти. Тутъ удивительно показано, какъ высокій нравственный идеаль проникаеть собою все міросозерцаніе простыхъ людей и вдругъ, среди зла и тьмы, неотразимо дёйствуеть на ихъ души.

Н намъ слѣдовало бы также твердо хранить въ себѣ этотъ свѣтъ и постоянно къ нему обращаться. Дѣле въ томъ, что къ святости, какъ къ завершенію всякой нравственности, направляются всѣ тѣ дѣйствія, которыя можно назвать нравственными, и лишь она одна можетъ дать имъ вполнѣ этотъ смыслъ и характеръ. Наша честность и наша доброта очень мало значатъ, если онѣ не исполняются въ духѣ святости. Есть вѣдь честность отвратительная, основанная на томъ, что быть

честнымъ выгоднѣе, чѣмъ плутовать; есть и доброта негодная, основанная на себялюбивой мысли о томъ, какъ мы добродѣтельны. Нужно быть чистыми въ своей душѣ,—тогда мы дѣйствительно и непремѣнно станемъ нравственными въ своихъ дѣйствіяхъ.

3 апр. 1892.

THE STATE OF THE PROPERTY OF T

If more existence on these experiences, more intermed a communication of the communication

Теорія благополучія.

Подводный камень, романъ М. В. Авдъева. Спб. 1863. Межъ двухъ огней, романъ въ трехъ частяхъ. М. В. Авдъева. Спб. 1869.

Магдалина, повъсть М. В. Авдъева. «Дъло» 1869 г. № 1.

Подробно анализировать произведенія г. Авдвева было бы двломъ небезполезнымъ и даже поучительнымъ, - хотя, конечно, по своему художественному достоинству, эти произведенія вовсе не имъютъ правъ на большое вниманіе. Г. Авдъевъ принадлежить къ числу подражателей, въ самомъ грубомъ смыслѣ этого слова. Онъ копируетъ чужіе пріемы, чужія мысли и настроенія; онъ не развиваетъ ихъ, не вдохновляется ими, а только подъ нихъ подделывается. Такъ сперва онъ подражалъ Лермонтову и въ своемъ "Тамаринъ" рабски скопировалъ "Героя нашего времени"; потомъ онъ сталь подражать Тургеневу въ своей манерѣ, а въ содержании сталъ копировать жоржъ-зандовскія и иныя мысли о правахъ любви вообще и женщинъ въ особенности. Къ этому послѣднему и наиболѣе славному періоду дѣятельности г. Авдѣева принадлежатъ три произведенія, заглавія которыхъ нами выписаны выше.

Интересъ, который имѣютъ для критики подражанія этого рода, заключается главнымъ образомъ въ искаженіи, которому при этомъ подвергаются мысли и взгляды, составляющіе предметь подражанія. Подражатели почти всегда портять дело своихъ образцовъ; они особенно жадно усвоиваютъ себъ ихъ слабыя стороны; они опошляють ту идею, которую берутся защищать; они низводять ее до ого уровня, на которомъ стоятъ сами. Поэтому, если мы хотимъ видъть пошлыя и слабыя стороны иден, то мы должны обратиться къ подражателямъ; видъть же эти стороны любопытно не только потому, что именно онт прививаются къ массъ, именно онъ господствують въ большинствъ исповедниковъ идеи, но и потому, что оне обличають природу самой идеи. Малъйшее зерно лжи, лежащее въ идев, разрастается въ массв послвдователей цёлымъ деревомъ заблужденій, и потому можеть быть ясно указано и обозначено.

И такъ, мы не будемъ разбирать произведеній г. Авдѣева съ тѣхъ многообразныхъ точекъ зрѣнія, которыя допускаетъ разборъ истинпо-художественныхъ произведеній, дѣйствительно озаряющихъ намъ жизнь. Мы прямо возьмемъ тѣ идеи подъ которыя г. Авдѣевъ поддѣлывается, и укажемъ тѣ искаженія этихъ идей, памятникъ и образецъ которыхъ составляють его произведенія. Натура писателя всегда беретъ свое, и, сколько онъ ни поддѣлывайся подъ высокія стремленія, скажется наконецъ во всей правдѣ.

Давно уже существуеть и проповъдуется тотъ односторонній взглядъ, по которому цель человека есть счастливая жизнь, а верховное правило дёятельности есть способствование счастливой жизни людей, стремленіе къ благополучію рода человізческаго. Мивнія эти очень распространены, такъ какъ они составляютъ самое простое и наивное выраженіе той жажды къ наслажденію жизнью и того состраданія къ б'ёдствіямъ себ'ё подобныхъ, которыя свойственны всёмъ живымъ существамъ. Но противъ этихъ началъ всегда такъ или иначе протестовала человъческая природа. Человъкъ всегда стремился стать выше страданія и радости, выше того, что случайно могло быть ему дано, или отъ него взято. Люди всю жизнь свою страдавшіе, и следовательно, по теоріи благополучія, не достигшіе цёли человёческой жизни, составляють, однако, въ многихъ случаяхъ предметь нашего глубокаго уваженія и удивленія. Напротивъ, счастливыхъ мы мало любимъ и почитаемъ. Человъкъ благополучно прожившій всю свою жизнь-часто

до конца остается ребенкомъ, существомъ легкомысленнымъ и невѣдающимъ истинной цѣны жизни. Только въ несчастіяхъ испытывается и образуется воля, развивается серіозная мысль, созрѣваетъ настоящее благородство характера. Однимъ словомъ—быть человъкомъ, вотъ главная цѣль жизни; страданія скорѣе способствуютъ, чѣмъ мѣшаютъ достиженію этой цѣли; напротивъ, благополучіе очень часто бываетъ для нея помѣхою.

Очень любопытны въ отношеніи къ предмету, о которомъ мы заговорили, разсужденія Джона Стюарта Милля, находящіяся въ концѣ его Лошки. По всему складу своего ума онъ необходимо долженъ былъ держаться теоріи благополучія и высказалъ это совершенно прямо и ясно.

"Не пытаясь" — говорить онь — "въ этомъ мѣстѣ оправдать мое мнѣніе, или даже опредѣлить допускаемый имъ способъ оправданія, я просто заявляю свое убъжденіе, что общій принципъ, съ которымъ должны бы были сообразоваться всѣ правила практики, и повѣрка, которую они должны бы выдерживать, есть принципъ способствованія счастью человъчества, или, скорье, всъхъ чувствующихъ существъ".

Тотчасъ же, однако, ему представилось возраженіе, указывающее, что его принципъ не обнимаетъ всей сферы нравственной дѣятельности.

"Есть"—замѣчаетъ онъ— "многія добродѣтельныя дѣйствія и даже добродѣтельные образы дѣйствій, которые въ частномъ случаѣ жертвуютъ счастіемъ, такъ какъ они производятъ болѣе страданія, чѣмъ удовольствія".

Слѣдовательно, необходимъ другой принципъ, совершенно отличный отъ принципа благополучія. Со всею искренностію добросовѣстнаго мыслителя, Милль указаль этотъ другой принципъ, такъ громко говорящій въ человѣческомъ сердцѣ, что его не можетъ заглушить никакая теорія.

"Я вполнѣ допускаю" — говоритъ Милль — "справедливость слѣдующаго: что воспитаніе въ себъ идеальнаю благородства воли и поступковъ должно быть для индивидуальныхъ человѣческихъ существъ цѣлью, которой должно уступать, въ случаѣ столкновенія, исканіе или ихъ собственнаго счастія, или счастія другихъ" *).

И такъ, душевное благородство—вотъ высшая цѣль человѣческой жизни, такая цѣль, что, если достиженію ея способствуютъ даже страданія, какъ это извѣстно изъ опыта, то и страданія должны быть благословляемы.

Милль, впрочемъ, мечтаетъ далѣе о соглашеніи обонхъ принциповъ, о томъ, что будто бы ду-

^{*)} Спетема логики, т. П. Спб. 1867 г., стр. 536, 537.

шевное благородство есть лучшее средство способствовать благополучію человічества. Но, какъ только єдівлано различіе принциповъ, какъ только сказано, что одинъ изъ нихъ долженъ всегда уступать другому, то ясно, что верховный принципъ имбетъ цівну независимо отъ принципа подчиненнаго. Весь вопросъ въ томъ и заключается, чтобы найти главную цівль жизни, найти, то, что едино есть на потребу. Если же мы станемъ смотрівть на душевное благородство, только какъ на средство, то явится возможность въ частныхъ случаяхъ прибівтать ради общаго блага къ другимъ средствамъ, отступающимъ отъ благородства, и мы придемъ къ знаменитому правилу, что ирлю оправдываетъ средства.

Правило это не изъ чего инаго и вытекло, какъ изъ предположенія, что общее благо можетъ быть верховной цѣлью для индивидуальнаго человѣка, главнымъ принципомъ, которому все остальное должно быть подчинено.

Мы не будемъ больше останавливаться на общихъ началахъ, а перейдемъ къ приложенію теоріи благополучія. Въ этомъ приложеніи, въ примѣненіи ея къ частнымъ вопросамъ, всего яснѣе обнаружится ея природа.

Какъ достигнуть общаго блага? Какъ сдёлать жизнь человёческую счастливою и благополучною?

Первая мысль, которая должна бы, кажется, прійти въ голову людямъ, предлагающимъ себъ эту задачу, заключается въ томъ, что задача невозможная. Жизнь человъческая, по самой сущности дъла, заключаетъ не однъ радости, но и страданія, совершенно пропорціональныя этимъ радостямъ. Какъ высоко-чувствительный организмъ, человъкъ способенъ испытывать и великія наслажденія, и мученія, неуступающія въ силѣ на слажденіямъ. Природа столь же мало щадить человъка, какъ и другихъ животныхъ, и посылаетъ на него бользнь, голодъ, потопъ, землетрясение. Каждый шагъ человъка окруженъ физическими опасностями, которыхъ никто предотвратить и предвидъть не можеть. И наконецъ, впереди человъка, какъ-бы благополучно онъ ни жилъ, всегда одна и таже перспектива — упадокъ силъ, болъзнь и смерть.

Затѣмъ слѣдуютъ бѣдствія и страданія, которыя человѣкъ испытываетъ приходя въ соприкосновеніе съ себѣ подобными. Во-первыхъ, люди бьютъ и рѣжутъ другъ друга, у нихъ въ обычаѣ война, и трудно думать, чтобы этотъ обычай прекратился, такъ какъ вѣроятно у людей никогда не пропадетъ охота жертвовать своею жизнью въ защиту дорогаго имъ дѣла. Но и другія столкновенія однихъ людей съ другими не обходятся безъ

страданій. Будеть-ли это свободная борьба, или же правильный порядокъ, -- и то и другое можетъ весьма тяжело отразиться на индивидуальномъ человъкъ. Въ борьбъ-напримъръ экономическойчеловъкъ можетъ быть задавленъ вслъдствіе тысячи случайностей и неблагопріятныхъ обстоятельствъ. Точно также, и всякій порядокъ, всякая правильная связь между людьми, по сущности дела, стесняеть и связываеть отдёльныя личности и, слёдовательно, въ частныхъ случаяхъ можетъ быть источникомъ великихъ страданій. Каковъ бы ни быль строй общества, онъ всегда будетъ препятствіемъ, о которое можетъ разбиться частная воля, такъ точно, какъ незыблемые законы міра физическаго безпрестанно бываютъ причиною гибели отдёльныхъ организмовъ.

Наконецъ, человѣку свойственны еще *нравственныя страданія*, больше всѣхъ другихъ не дающія ему отдыха и тѣмъ болѣе сильныя, чѣмъ выше его нравственное развитіе. Человѣкъ постоянно волнуется желаніями, воспоминаніями, надеждами. Онъ не можетъ отдѣлаться отъ своего прошедшаго, не можетъ не тревожиться о будущемъ, не можетъ довольствоваться настоящимъ. Возможность страданій заключается уже въ томъ, что каждый человѣкъ развивается лишь постепенно, слѣдовательно долго не вполнѣ понимаетъ себя и

другихъ. "Грѣхи юности" вошли въ пословицу, и рѣдкій человѣкъ не желалъ бы измѣпить свое прошлое. Самая способность желать и привязываться, отъ силы которой зависитъ размѣръ человѣческаго счастія, неизбѣжно содержитъ возможность страданій, пропорціопальныхъ развитію этой способности. Кто сильно любитъ, тотъ испытываетъ и сильныя мученія отъ потери любимаго предмета; кто сильно желаетъ, тотъ и сильно страдаетъ отъ педостиженія предмета своихъ желаній. Чтобы быть спокойнымъ въ жизни есть только одно средство — быть ко всему равнодушнымъ.

Мы мелькомъ и бѣгомъ касаемся здѣсь темы обширной и общензвѣстной; человѣческія страданія давно извѣстны людямъ и подробно раскрыты въ безчисленныхъ книгахъ, начиная отъ Библіп до Шекспира и всевозмежныхъ философовъ и поэтовъ. При этомъ мы вовсе пе говоримъ о тѣхъ страданіяхъ, которыя производятся всякаго рода злыми и порочными свойствами людей; нѣтъ, мы хотѣли указатъ только на тѣ страданія, которыя прямо и естественно вытекаютъ изъ самой ограниченности человѣческаго существа: человѣкъ ограниченъ во времени и въ пространствѣ; силы его имѣютъ извѣстные предѣлы; и опъ, и все. чтò до него касается, подвержено случайностямъ; жизпь

человѣка есть явленіе непрочное, непрерывно измѣняющееся, преходящее. Какъ-же мечтать о счастіи, когда каждое изъ этихъ ограниченій чувствуется человѣкомъ какъ страданіе?

Наша мысль будеть яснѣе, если мы посмотримъ, чего добиваются послѣдователи теоріи благополучія. Если мы увидимъ, что они пришли къ нелѣпостямъ, то намъ будетъ ясно, что они задались невозможною цѣлью.

Но прежде сдёлаемъ оговорку. Надвемся, что читатели не подумають, будто мы вооружаемся противъ обязанности любить людей и помогать имъ всёми силами. Любовь къ людямъ-дёло прекрасное и святое, но мы здёсь вовсе не о ней говоримъ. Если мнъ скажуть: люби людей, помогай имъ, то я конечно не буду въ правъ отвъчать: не могу. Нътъ, это дъло возможное и отъ меня самого зависящее. Но если мит скажуть: сдплай людей счастливыми, то я буду совершенно правъ, если отвъчу: не могу и не берусь; я готовъ любить ихъ, готовъ всячески облегчать ихъ страданія и способствовать ихъ благополучію, но не могу ручаться, что сдълаю ихъ счастливыми; я не знаю, возможенъ ли такой результатъ, или даже наоборотъ, я знаю, что онъ невозможенъ. Въ первомъ случав цъль и заповъдь есть любовь, дъло можетъ быть и не очень легкое, но возможное; въ другомъ случать

цѣль и заповѣдь есть счастие,—дѣло не только трудное, но и вовсе невозможное. И такъ, послѣдователи теоріп благополучія отличаются отъ простыхъ послѣдователей Христа не тѣмъ, что они одни преданы любви къ людямъ и заботятся о благѣ человѣчества, а тѣмъ, что они увѣрены въ возможности счастія человѣчества, что они ручаются за это счастіе и знаютъ будто бы пути, которыми оно можетъ быть и непремѣнно должно быть достигнуто. Посмотримъ же, каковы эти пути.

Что касается до физическихъ источниковъ страданій, то неизб'яжность ихъ слишкомъ ясна, и потому ихъ не отрицають, но зато и не удостоивають надлежащаго вниманія, какъ такой вопрось, гдв много умствовать невозможно. Обыкновенно возлагаются большія надежды на медицину; предполагають, что эта наука современемь откроеть средства пресъкать и предъупреждать всъ бользни, какими страдають люди. Но, если бы даже это было вполнъ возможно, то останется еще многое, о чемъ и мечтать непозволительно. Нельзя сдълать человъческое тъло такимъ кръпкимъ, чтобы оно не разбивалось въ случав паденія, не горбло отъ огня, не страдало отъ случайной порчи или случайнаго недостатка воздуха, пищи, воды, теплоты. Опасности всегда будуть грозить гибелью человъку, и, наконецъ, одни алхимики могли мечтать объ избѣжаніи смерти, которая непремѣнно паступитъ, какъ бы мы себя ни сберегали.

Если затёмъ мы перейдемъ къ страданіямъ человъка въ обществъ, то туть открывается уже больше простора для борьбы, больше возможности устранять зло. Многіе думають, что общественное зло можетъ быть вовсе уничтожено, что возможно общество, въ которомъ люди ни мало не стъсняли бы другь друга, -задача, которая не кажется трудною и невозможною только потому, что людей считаютъ существами, способными вполнъ управлять своими действіями и строго подчинять ихъ заранъе составленнымъ правиламъ. Едва ли, однако же, люди сами себя знають и могуть располагать своею природою. Путь отдёльного человёка среди другихъ людей всегда будетъ обставленъ препятствіями и опасностями, по той простой причинъ, что никто не знаетъ мъры своихъ силъ, что назначение каждаго не только не можетъ быть върно опредълено другими, но неясно и для него самого.

Главная задача, о которой хлопочуть поклонники благополучія, повидимому, проще и нагляднѣе всѣхъ другихъ,— именно состонть въ устранепіи страданій бѣдности и нищеты. Мы не будемъ разсматривать здѣсь попытокъ вполнѣ достигнуть этой весьма желательной цѣли; замѣтимъ только, что главная трудность здёсь заключается, кажется, въ невозможности устранить изъ дёла нравственный элементъ. Если бы матеріальное благосостояніе было главною цёлью людей, они навёрное давно бы его достигли; но люди всегда расположены пренебрегать своими матеріальными нуждами, рисковать своимъ здоровьемъ, имуществомъ и даже жизнью — изъ за какихъ нибудь другихъ цёлей, имѣющихъ для нихъ большую привлекательность, чёмъ матеріальное довольство.

Перейдемъ прямо къ предмету нашей статьи къ нравственнымъ страданіямъ. Въ этой сферѣ, какъ намъ кажется, вопросъ получаетъ наибольшую ясность. Притомъ, мы должны будемъ ограничиться случаями въ высшей степени опредѣленными. Собственно, намъ слѣдуетъ говорить только о любви между мужчинами и женщинами, такъ какъ именно этому предмету посвящены разбираемыя нами сочиненія г. Авдѣева. Попробуемъ сперва взять вопросъ въ самыхъ общихъ чертахъ.

Половыя отношенія представляють самое многостороннее явленіе человѣческой жизни. По своей животной сторонѣ они могуть быть отнесены къ физическимъ потребностямъ, а по нравственному смыслу, который вносится въ нихъ человѣкомъ, они принадлежать къ самой высокой сферѣ душевной жизни. И чѣмъ сложнѣе и многостороннѣе 230 теорія

это явленіе, тѣмъ сложнѣе и многостороннѣе страданія, которыхъ оно можетъ быть источникомъ. Если человѣчество страдаетъ отъ такой простой потребности, какъ потребность пищи и питья, если нельзя отвратить всѣхъ случаевъ, когда эта потребность не удовлетворяется, то во сколько разъ больше бѣдъ должно порождать стремленіе, которое по своей высотѣ и сложности почти никогда не достигаетъ совершеннаго выполненія?

Чувства, возникающія между мужчиною и женщиною, начинаясь съ животнаго влеченія, могуть доходить до удивительной высоты и силы. Въ разной степени, но у всёхъ есть возможность этихъ чувствъ, и всякій желалъ бы жить этими чувствами. Каждому мужчинё желалось бы горячо полюбить женщину, встрётить съ ея стороны отвётную любовь, имёть возможность назвать ее своею женой, сохранить эту связь крыпкою, ненарушимою, имёть дётей, пережить всё измёненія взаимнаго чувства, начиная отъ перваго пыла страсти до той глубокой нёжности, которая соединяеть старыхъ супруговъ.

Вотъ идеалъ отношеній между мужчиною и женщиною. Спрашивается, многимъ ли онъ доступенъ, многими ли достигается? А между тѣмъ, каждое уклоненіе отъ этого идеала имѣетъ неизоѣжнымъ слѣдствіемъ—страданіе. Ибо человѣкъ

не животное, и отъ несбывшихся надеждъ также страдаетъ, какъ и отъ лишеній настоящей минуты.

Какъ мы сказали, человъкъ есть существо ограниченное, а потому неизбѣжно подверженъ случаямъ невыполненія своихъ желаній. Если бы для исканія любви и семейнаго счастія намъ было дано неопределенное время, то можно бы еще предполагать, что каждый найдеть его рано или поздно. Но и дни и силы человъка измърены. Нельзя воротить молодости, нельзя предотвратить старости. Мужчина или женщина, сделавшіе одну двѣ неудачныя попытки устроить себѣ брачныя отношенія, обыкновенно тратять на нихъ столько времени, свѣжести, чувствъ и силъ, что потомъ уже становятся невозможны новыя понытки. Въ сущности, эти случаи похожи на случаи искалъченія, певозвратной и незамѣнимой потери какой нибудь части организма. Если вы потеряли руку или глазъ, -то уже дело кончено, и беды ничемъ поправить нельзя. Такъ точно, если у васъ потеряна молодость, если неудачна была ваша первая глубокая любовь, -жизнь ваша (въ этомъ отношеніи) испорчена и ничімъ быть поправлена не можетъ.

Посмотримъ теперь, что же говорятъ проповѣдники человѣческаго благополучія. Случай, на который написаны три произведенія г. Авдѣева (и на которомъ точно также основанъ романъ "*Что дплаты*") представляеть одно изъ самыхъ ясныхъ и простыхъ человѣческихъ несчастій, а именно: жена измъняеть мужу.

Варіяціи на эту тему сдёланы г. Авдёевымъ слёдующія:

Въ «Подводномъ камнѣ» жена любитъ мужа, но встрѣчается съ мужчиною болѣе молодымъ и красивымъ, охладѣваетъ къ мужу и влюбляется въ юношу.

Въ «Межъ двухъ огней» жена равнодушна къ мужу и, встрѣтившись съ красивымъ юношей, отдается ему.

Въ «Магдалинѣ» жена любитъ мужа и не перестаетъ его любить, но отдается другому мужчинѣ потому, что мужъ уѣзжаетъ на долгое время. Когда мужъ возвращается, жена прогоняетъ любовника и продолжаетъ любитъ мужа по прежнему•

Таковы эти исторіи, въ завязкѣ которыхъ, какъ читатель видитъ, вѣтъ ничего необыкновеннаго, кромѣ развѣ необыкновенной пошлости послѣдней исторіи. Но новое и необыкновенное заключается въ развязкѣ этихъ событій, не въ томъ, какъ ведутъ себя жоны, а въ томъ, какъ ноступаютъ при этомъ мужья.

Мужъ въ «Подводномъ камнѣ» отпускаетъ отъ

себя жену съ любовникомъ; когда же любовникъ охладъть къ героинъ, и она возвращается домой, мужъ принимаетъ ее, и они снова наслаждаются семейнымъ счастіемъ.

Мужъ въ «Межъ двухъ огней» приглашаетъ любовника своей жены жить къ себѣ въ домъ; когда жена, вслѣдствіе связи, приходитъ въ интересное положеніе, мужъ обѣщаетъ ей усыновить ребенка. Любовникъ бросаетъ жену, какъ и въ первомъ разсказѣ; у жены явдяется новый обожатель; но на этомъ интересномъ мѣстѣ авторъ задергиваетъ занавѣсъ. Нѣтъ сомнѣнія, однако же, что мужъ и впередъ не будетъ обижать жены, и подъ конецъ, вѣроятно, заживетъ съ нею по прежнему.

Наконецъ, въ «Магдалинѣ» мужъ, ничего незнавшій и уже наслаждавшійся, по возвращеніи, семейнымъ счастіємъ, узнаетъ о прошломъ и сначала сердится. Онъ не обижаетъ жены, но разрываетъ съ нею брачныя отношенія. Когда же та отъ горя умираетъ, мужъ сознаетъ свою ошибку и раскаявается. Онъ чтитъ память своей жены и нѣжно любитъ ребенка, о которомъ не знаетъ достовѣрно, отъ кого онъ родился.

Именно въ поведеніи мужей и заключается наставительность разсказовъ г. Авд'єва; первые два мужа выставлены, какъ образцы гуманныхъ людей, ведущихъ себя сообразно съ просвѣщенными идеями; послѣдній мужъ выставленъ человѣкомъ пустымъ, исполненнымъ предразсудковъ, отъ чего онъ и впадаетъ въ грубый промахъ, и только на горькомъ опытѣ убѣждается, что поступилъ дурно.

И такъ, г. Авдѣевъ научаетъ насъ, что измѣна жены вовсе не есть неисправимое бѣдствіе,—что стоитъ только быть гуманнымъ и чуждымъ предразсудковъ, чтобы все обошлось благополучно, и чтобы никто не пострадалъ. Неправда ли, что интересна та мудрость, которая можетъ привести къ такимъ блистательнымъ результатамъ? Попробуемъ изложить главныя основанія этой мудрости.

Существенный принципъ заключается въ томъ, что любовь между мужчиной и женщиной есть величайшее благо, лучшее наслажденіе, какое можеть представить жизнь. "Что за жизнь безъ любви?" говоритъ Камышлинцевъ, герой романа "Межъ двухъ огней"; "вѣдь это произрастаніе! Да еще и произрастаніе-то безъ цвѣта, безъ аромата Какъ же можно отказывать себъ въ этомъ чувствъ, которымъ однимъ только и красна жизнь! Вѣдь это.... половина самоубійства, это самоискалѣченье!" ("Между двухъ огней", стр. 77).

И такъ, прямой выводъ, къ которому послѣдовательно приходитъ теорія благополучія, будетъ тоть, что не должно отказываться от счастія любви. Гдё бы и какъ бы ни явилась любовь, она имѣеть право на существованіе, ибо въ ней достигается цёль жизни—счастіе. Мёшать любви—значить мёшать людямъ достигать этой цели.

Но какъ же является любовь? Какъ получается и сохраняется это великое благо? На это намъ отвъчають, что любовь есть явленіе случайное, прихотливое, ни мало не зависящее отъ воли и усилій человъка, который испытываеть это чувство. Наши чувства от нась не зависять—вотъ аксіома этой школы. Въ "Подводномъ камнъ" Соковлинъ, выслушавъ признаніе въ любви отъ своей невъсты, говоритъ ей:

"Во мнѣ есть убѣжденіе, твердое, неизмѣиное, что иувства не зависять от нась. Я вѣрю, что они могуть не измѣняться, но могуть и измѣниться — все дъло случая и обстоятельствь, какъ бользнь... Дайте мнѣ слово, что если когда нибудь... хоть завтра... хоть на другой день свадьбы... если эти чувства измѣнятся... если вы увидите, что ошибались въ нихъ, или во мнѣ, что я не стою ихъ, или другой лучшій заставить ихъ измѣниться... тогда вы мнѣ прямо, какъ другу, какъ брату, скажете объ этомъ". ("Подводный камень", стр. 142).

Влюбленная дввушка обижается такими рф-

чами, но потомъ оказывается, что ен опытный женихъ былъ совершенио правъ въ своихъ предположеніяхъ.

Итакъ въ любви все — дѣло случая и обстоятельствъ; она не подводится ни подъ какія правила и можетъ внезапно изчезнуть, завтра, или на другой день свадъбы.

Часто ли, однако же, являются подобныя неотразимыя чувства и ничёмъ непредотвратимыя перемёны? Составляють ли они исключеніе, или общее правило? Если вёрить г. Авд'веву, то эта слёпая, неудержимая страсть любви господствуеть надъ всёми смертными, и перемёны въ ней случаются безпрерывно.

"Когда Камышлинцевь (молодой холостякь) и Мытищева (молодая замужняя женщина) остались вмѣстѣ, они почувствовали", разсказываетъ г. Авдѣевъ, "то особенное, пріятное и нѣсколько смущающее ощущеніе, которое всегда явіяется само собою, если молодой мужчина и молодая женщина, непристроизшіе еще никуда свое такъ называемое сердце, остаются съ глазу на глазъ. Тотчасъ какъ будто подумается: "ну вотъ мы и одни! что же выйдетъ изъ этого?" и при этомъ мужчина иначе поглядить на женщину, а женщина чувствуетъ на себѣ этотъ взглядъ, и сама иначе подумаетъ о своемъ собесѣдникъ". ("Межъ двухъ огней" стр. 72).

И такъ, вотъ простъйшій случай и обыкновеннѣйшія обстоятельства, въ которыхъ можетъ возникнуть непреодолимая любовь. Въ другомъ романѣ, молодой человѣкъ такъ объясняется съ молодой замужней женщиной:

"Неужели вы думаете, что человѣкъ еще молодой и свободный можетъ встрѣчаться съ женщиной, какъ вы, въ добавокъ съ женщиной, которая ему нравилась, безъ того, чтобы ему не хотѣлось ея любви, когда, и безъ того, ни одинъ мужчина не встръчаетъ равнодушно сампатичную ему женщину! Или вы въ самомъ дѣлѣ думаете, что я зачерствѣлъ, или превратился въ кусокъ льда? Да вѣдь это была бы болтзнь, или уродство..." ("Подводный камень", стр. 181).

И такъ, свободный молодой человѣкъ, если онъ не уродъ и не боленъ, непремѣнно желаетъ любви каждой симпатичной ему женщины. Такъ говорятъ юноши; но, какъ открываетъ намъ г. Авдѣевъ, и старцы не менѣе юношей подвержены власти любви.

"Любовь", говорить онъ, "есть не только одно изъ самыхъ великихъ, но и самыхъ живучихъ чувствъ. Она пронизываетъ все животное царство *), и есть первый двигатель и источникъ жизни. Она

^{*)} Г. Авдъевъ упустилъ изъ виду царство растительное, которое также представляетъ различіе половъ.

238 теорія

переживаетъ въ человъкъ и его молодость и силы. Старческая любовь можеть быть не менте сильна и глубока, чъмъ всякая иная; опыть, даже опасеніе и боязнь смѣшнаго-и тѣ не всегда мѣшаютъ ей выказываться! Спросите женщину, на какія пожертвованія, на какое безуміе способень остаюшійся ст ней на единп старикт, - и вы убъдитесь, что, по мъръ утраты правъ на это великое и сладчайшее чувство, человъкъ, кажется, болъе и болъе дорожить его последнимъ проблескомъ, последними крупицами самой роскошной трапезы, и надо имъть болье чъмъ когда либо самообладанія, силы воли и глубоко - трезваго взгляда, чтобы, сознавъ пору увяданія, съ грустью, но твердо сказать себъ: эту прелестнъйшую сторону жизни я отжилъ навсегда!"» ("Межъ двухъ огней", стр. 94 и 95).

Таково положеніе дѣла. Мы не имѣемъ причины сомнѣваться въ справедливости этихъ картинъ; мы думаемъ даже, что авторъ очень мѣтко выразилъ въ нихъ образъ мыслей и дѣйствій, если не человѣчества вообще, то извѣстной доли нашего просвѣщеннаго общества, что есть дѣйствительно среда, въ которой молодой мужчина желаетъ любви каждой молодой женщины и, оставщись съ ней наединѣ, начинаетъ смотрѣть на нее иначе, старики же въ подобномъ случаѣ пускаются на всякія безумства.

Нельзя не замѣтить, что авторъ очевидно радуется такому обилію великаго и сладчайшаго чувства среди тѣхъ людей, которыхъ онъ описываетъ; и въ самомъ дѣлѣ, если въ любви счастье, то чѣмъ его больше, тѣмъ лучше.

Но какъ же при этомъ изобиліи счастія избѣжать страданій? Какъ сдѣлать, чтобы, при такомъ порядкѣ вещей, мужья и возлюбленные не мучились отъ того, что ихъ жены и подруги охладѣваютъ къ нимъ, влюбляются въ другихъ и, наконецъ, вовсе покидають своихъ прежнихъ сожителей? Вотъ существенный вопросъ, и вотъ гдѣ обнаруживается вся сила и всѣ свойства теоріи благополучія.

Проповѣдники счастія требують въ этомъ случаѣ, чтобы человѣкъ измъниль свои чувства, чтобы онъ силою ума подавилъ въ себѣ тѣ непріятныя волненія, которыя испытываютъ люди грубые и непросвѣщенные. Обыкновенно при измѣнѣ въ любви люди мучатся ревностію, начинають ненавидѣть женщину, которая имъ измѣнила, и мужчину, къ которому перешла любовь этой женщины, и, наконецъ, если и поборають въ себѣ злобу противъ нихъ, то чувствуютъ глубокое горе и разочарованіе. Очень часто теряется при этомъ всякая вѣра въ любовь и всякая охота къ дальнѣйшимъ любовнымъ похожденіямъ.

Все это требуется устранить; проповѣдники счастія надѣются, что они могуть своими убѣжденіями искоренить въ людяхъ всякую возможность подобныхъ чувствъ и даже внушить людямъ чувства совершенно противоположныя.

Ревность, злоба, отчанне и пр.—все это признается чувствами фальшивыми, напускными, противными природь. Ревность есть нелѣпость; она основывается или на зависти къ чужому счастію, или на томъ предразсудкѣ, по которому мужчина считаетъ женщину своей исключительной собственностію, унижаеть ее на степень своего сюртука или халата, ему одному принадлежащаго. Питать къ любящимся злобу также нелѣпо; скорѣе нужно радоваться ихъ взаимному счастію и сколько возможно способствовать ему. Наконецъ, приходить въ отчаяніе тоже не слѣдуетъ, а нужно спокойно покориться необходимости и приняться энергически искать себѣ новой любви, на мѣсто той, которую мы потеряли.

Таковъ новый кодексъ новыхъ чувствъ, которыми должны руководиться просвѣщенные и прогрессивные люди въ дѣлахъ любви.

Да, мы и забыли было объ одномъ существенномъ пунктѣ: женщина, измѣнившая мужчипѣ, можетъ опять быть припята имъ въ союзъ любви, ибо несправедливо и негуманпо сердиться за то, что уже прошло, чего больше нѣтъ.

Весьма любопытно было бы съ точностію анализировать эти новыя правила жизни, на что, къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ времени; мы постараемся только дать читателю общее понятіе объ этомъ образѣ чувствъ и мыслей. Главныя черты его, намъ кажется, слѣдующія: 1) должно сочувствовать чужому благополучію, 2) должно думать только о настоящемъ, существенномъ, забывать прошлое и не заботиться о будущемъ.

Прекрасное зрѣлище двухъ любящихся существъ должно восхищать насъ. Въ романѣ "Между двухъ огней" нѣкто Ольга Мытищева измѣняетъ своему мужу. У мужа есть братъ, декабристъ и умнѣйшій человѣкъ, котораго чувства должны служить намъ образцомъ. И вотъ что разсказываетъ г. Авдѣевъ объ этомъ умномъ старикѣ: «Мы говорили, что онъ очень любилъ Ольгу, а съ тѣхъ поръ, какъ онъ узналъ о ея связи, по странному, но общему всѣмъ мужчинамъ свойству, она ему стала правиться еще болпе». (стр. 209).

Вотъ какъ слѣдуетъ чувствовать въ подобныхъ случаяхъ. Во-вторыхъ, и главное дѣло,—нужно имѣть въ виду только настоящее. Въ повѣсти "Магдалина", мужъ, узнавши, что въ его отсутствіе жена его любилась съ другимъ, спрашиваетъ ее съ гнѣвомъ: "такъ это правда? Онъ былъ тво-имъ любовникомъ?"

"Послушай" — отвѣчаетъ ему жена: — "естъ вещи, о которыхъ не говорятъ, и я не знаю, по какому праву ты меня допрашиваешь объ этомъ. Я тебѣ сказала, что отдалила его, и ты самъ, надѣюсь, видишь, что я люблю тебя и люблю тебя одного: чего жее тебъ еще? ("Дѣло" № 1. стр. 118).

По глупости и по закоренѣлости въ предразсудкахъ, мужъ не можетъ понять этой разумной рѣчи и продолжаетъ злиться и ругаться; между тѣмъ какъ, еслибы онъ вразумился, онъ, очевидно, успокоился бы и былъ бы счастливъ.

Надъемся, читателямъ ясна теперь главная суть этой теоріи благополучія. Легко развить эту теорію до конца и съ точностію выразить идеалъ, къ которому она стремится. Чтобы люди были счастливы въ любви, они должны вполнѣ покоряться влеченію этого чувства, за измѣну не сердиться, стараго не вспоминать, о будущемъ не думать и одинаково любить какъ своихъ, такъ и неизвѣство-чьихъ дѣтей, рожденныхъ ихъ женою (такъ поступаетъ мужъ "Магдалины", умудренный, наконецъ, горькимъ опытомъ). Однимъ словомъ, люди должны отбросить всѣ фальшивыя чувства, заботы, мысли и различія и руководиться только однимъ великимъ и сладчайшимъ чувствомъ любви.

Что-же сказать объ этомъ идеалѣ? Съ точки зрѣнія счастія онъ, право, очень недуренъ. Для счастія человічества, можеть быть, было бы хорошо, еслибы люди перестали думать и помнить, еслибы они отказались отъ разныхъ мечтаній и притязаній и приблизились бы къ животнымъ. Животныя, безъ всякаго сомнінія, счастливіте людей; они спокойніте, довольніте собою и вполніте способны жить однимъ настоящимъ. У Овидія, Мирра, дочь, влюбленная въ отца, горько завидуеть коровамъ и лошадямъ. Да и вообще, зависть къ счастію животныхъ очень неріздко выражалась людьми; вспомните, напримітръ, Жанъ-Жака Руссо.

Но, объдное человъчество! Оно едва ли когда нибудь будеть въ силахъ измѣнить характеръ своихъ чувствъ, едва ли когда нибудь даже пожелаеть такой перемъны. Люди не откажутся оть своихъ высшихъ радостей, отъ своихъ лучшихъ стремленій только потому, что съ этими радостями связаны и соотвътственныя страданія. Люди всегда будуть мечтать о такой любви, при которой потеря любимаго человъка незамънима, подобно тому, какъ ничъмъ нельзя замънить потерю матери или дътей. Чтобы уничтожить горе, которое намъ можетъ причинить утрата материнской любви, или радости, доставляемой намъ дътьми, есть очень простое средство: пусть дъти никогда не знаютъ своихъ родителей, а родители своихъ дътей. Такъ это делается у животныхъ, у которыхъ семейство распадается, какъ скоро кончено дѣло воспитанія. Но едва ли, говоримъ мы, человѣчество когда нибудь прибѣгнетъ къ этой мѣрѣ для облегченія своихъ страданій и станетъ искусственно (скрывая дѣтей отъ родителей) производить то, что у животныхъ дѣлается естественно (вслѣдствіе забыванія и погруженія въ настоящее). Точно также, скорое утѣшеніе новою любовью, послѣ потери старой, едва ли когда нибудь будетъ для человѣчества идеаломъ любовныхъ отношеній. Къ великому своему несчастью, люди помнятъ прошлое и не хотятъ отказаться отъ этой памяти; поэтому они бываютъ безутѣшеми и стремятся не къ такому счастью, которое легко забыть и замѣнить новымъ.

Изо всего этого слъдуетъ, что проповъдники благополучія очень дурно понимаютъ человъческую жизнь, видятъ въ ней нъчто гораздо менъе серіозное и глубское, чъмъ она есть на самомъ дѣлъ. Ихъ взгляды отзываются легкомысліемъ юности и неопытности, не смотря на то, что иные изъ этихъ проповъдниковъ украшены съдинами; эти люди, очевидно, не прошли горькаго опыта, не извъдали ни тъхъ высокихъ желаній, которыя можетъ питать человъкъ, ни той глубины горя, до которой можетъ довести его жизнь. Для проповъдниковъ счастья все легко, все возможно, чъмъ они доказываютъ не столько свое благорасположеніе къ

роду человъческому и сочувствие его страданіямъ, сколько свое собственное благополучное настроеніе, свое незнаніе серіозныхъ чувствъ и мыслей. Чтобы такъ настойчиво желать счастья и такъ увъренно проповъдывать это желаніе, нужно находиться въ нъкоторомъ легкомъ и пріятномъ расположеніи духа, нужно испытывать нъкоторое довольство собою и своею судьбою. Не весело дъйствительнымъ страдальцамъ слушать ръчи, произносимыя въ этомъ тонъ и духъ; да и всякій серіозный человъкъ не воздержится отъ насмѣшки при видъ такого наивнаго счастья.

Что касается, въ частности, до г. Авдѣева и его любимой темы, то легко убѣдиться, какъ мало его произведенія захватывають серіозную сторону жизни, какъ слабо онъ понимаетъ истинно-человѣческія чувства и желанія. Картины счастія, которыя онъ рисуетъ, ни мало не привлекательны. Любовь, это "великое и сладчайшее чувство", всепобѣдную силу котораго онъ постоянно воспѣваетъ, не имѣетъ въ его разсказахъ никакой прелести и скорѣе способна внушить отвращеніе. Это не любовь въ настоящемъ смыслѣ, а простое, вялое, холодное сластолюбіе, изъ-за котораго не стоитъ ни страдать, ни жертвовать. Всѣ эти жены, измѣняющія своимъ мужьямъ, и мужья, прощающіе своихъ женъ и вновь живущіе съ ними, поражають насъ

не избыткомъ жизни, а, напротивт, явною мертвеностію, явнымъ отсутствіемъ всякихъ живыхъ и теплыхъ чувствъ, и тѣмъ отвратительнѣе та комедія мнимыхъ волненій и влеченій, которую они разъигрываютъ между собою. Вотъ міръ, въ которомъ невозможно быть счастливымъ, такъ какъ въ немъ нѣтъ ни одного теплаго сердца, ни одного дѣйствительнаго человѣка.

Безжизненность—такова самая основная и характеристическая черта произведеній г. Авдѣева. И эта школа необходимо должна была прійти къ непониманію жизни, къ отрицанію ея существеннаго содержанія. Давно замѣчено, что люди глупые, легкомысленные, слабо чувствующіе и мыслящіе, живутъ на свѣтѣ легче и счастливѣе другихъ. Г. Авдѣевъ вполнѣ подтверждаетъ это замѣчаніе своими разсказами. Счастье, которое онъ рисуетъ и проповѣдуетъ, основано на совершенномъ невѣденіи истинныхъ радостей и горестей человѣческой жизни.

1869 г. 4 апр.

Поминки по Аполлонѣ Григорьевѣ.

(1822-1864).

Сегодня (25-го сент. 1889) исполнилось 25 лѣтъ со дня смерти Аполлона Григорьева. Четверть стольтія - долгое время для нашей краткой жизни Но, еслибы онъ всталъ изъ могилы, что новаго нашель бы онъ въ русской литературъ, составлявшей всегдашній предметь его мыслей? В фроятно, онъ былъ бы очень удивленъ медленностью нашего развитія. Въ самомъ дѣлѣ, при немъ уже были на лицо и громко заявили себя всё силы, дъятельность которыхъ наполняеть это двадцатипятильтіе. Въ публицистикъ уже тогда были въ полномъ цвъту петербургскій нигилизмъ и два московскіе соперника-Катковъ и Аксаковъ. Въ беллетристикъ уже стояли на высшей своей точкъ Тургеневъ, Островскій, Писемскій, пожалуй и Салтыковъ. Всѣ, кого мы назвали, лишь недавно окончили свою дъятельность, но лучшее свое поприще прошли уже при Григорьевѣ, а потомъ только понижались, иногда даже черезчуръ замѣтно. Наоборотъ, два писателя, Достоевскій и Л. Н. Толстой, только послѣ смерти Григорьева вполнѣ раскрыли свои силы, пріобрѣли значеніе, можно сказать, отодвинувшее на второй планъ всѣхъ предъидущихъ. Но и при Григорьевѣ они уже очень опредѣлились, и имена ихъ стояли въ первомъ ряду. Наконецъ, поэты въ тѣсномъ смыслѣ были тогда тѣ же и имѣли тотъ же относительный вѣсъ, какой мы имъ теперь придаемъ: изъ покойныхъ—Тютчевъ и Некрасовъ, изъ живыхъ—Майковъ, Полонскій и Фетъ.

Не поразительное ли дѣло? Почти безъ исключенія, на первомъ планѣ литературы стояли и стоятъ до сихъ поръ люди, появившіеся въ николаевское время, въ послѣднія семь, восемь лѣтъ этого времени. Случилась какъ будто какая-то остановка на цѣлыя сорокъ лѣтъ! Аполлонъ Григорьевъ былъ ровесникомъ всѣхъ элементовъ, которые имѣли и имѣютъ въ литературѣ главную силу по настоящую минуту. Собственно новымъ былъ бы для него развѣ только послѣдній фазисъ дѣятельности Л. Н. Толстого, фазисъ, который теперь у всѣхъ на языкѣ, и у насъ, и повсюду, но огромное значеніе котораго такъ рѣдко кѣмъ понимается.

Разгадка этой остановки, кажется, одна: мы перенесли въ это время тяжкую и страшную бользнь—нигилизмъ; въ «интеллигенціи» возникло злокачественное броженіе, которое принимало различныя формы, обострялось и притихало, и разразилось, наконецъ, безумнымъ злодъйствомъ 1-го марта. Мы жили среди колебанія умовъ и душъ, постоянно отвлекавшаго вниманіе, не дававшаго зрѣть никакимъ зачаткамъ.

Но, если новыхъ талантовъ почти не появлялось, то литература все-таки продолжала расти и развиваться, такъ сказать, вопреки нигилизму. Въ ней были уже силы, не подпадающія ни подъ какую зависимость, какъ, напримеръ, Л. Н. Толстой, котораго «Война и миръ», писанная уже въ началь «эпохи покушеній», вдругь расширила и углубила всв наши литературныя задачи, открыла горизонты, давно потерянные изъ нашихъ глазъ. Были также люди отзывчивые, схватившіеся съ нигилизмомъ грудь съ грудью и освътившіе глубочайшіе припадки этой бользни-таковь быль Достоевскій. Вообще, не смотря на то, что общій уровень писателей и читателей понижался вмъстъ съ огромнымъ расширеніемъ и внѣшнимъ нарастаніемъ печати, въ сущности, въ глубинѣ, литература зрѣла, становилась все серіознѣе и строже въ своихъ запросахъ и никакъ не дала сбить себя съ правильнаго нути. Слава Богу, у насъ есть самобытно живущая и растущая литература, есть уже и сознаніе этого, и крѣпкая любовь къ ней. Недавно еще, нельзя было не прійти въ изумленіе и восхищение отъ той живости съ которою сказалось наше литературное сознание въ массахъ читателей. Мы говоримъ о Пушкинъ. Наиболь шая слава досталась Пушкину именно въ концъ этого пвадцатипятильтія, тому самому Пушкину, котораго наши журналы давно уже отложили было въ сторону, а нѣкоторые пренаивно собирались сдать въ архивъ. И вдругъ тънь его появилась передъ нами въ такомъ величіи, передъ которымъ побледнели всякія соперничества и обратились въ прахъ всякіе толки мудрившихъ надъ нимъ судей.

Аполлонъ Григорьевъ есть писатель, значенію котораго тоже суждено возрастать вмѣстѣ съ развитіемъ нашего литературнаго сознанія. При жизни онъ не имѣлъ никакого успѣха у читателей и былъ совершенно затертъ тѣми, кого онъ называлъ "теоретиками". Хотя имя его и тогда уже было громко, но оно пріобрѣло свой вѣсъ только между писателями, которые не могли же не чувствовать его силы, если только были сколько нибудь проницательны. Вспоминая наши сходки въ послѣднія шесть лѣтъ его жизни, когда я съ нимъ

быль близокъ, я живо припоминаю то явное превосходство, которое онъ имѣлъ надъ литераторами тогдашнихъ кружковъ. Не только онъ быль глубоко образованный человькъ, знавшій языки, начитанный, посвященный въ философію, но и очевидный блескъ зръдаго ума и тонкость пониманія ставили его далеко выше другихъ. Между тъмъ, писанія его были не по вкусу и не по плечу публикъ и проходили безслъдно, лишь изръдка привлекая инаго чуткаго читателя, который зато ужъ становился ихъ жаркимъ поклонникомъ. Та же судьба преследовала его и за гробомъ. Когда въ 1876 г. былъ изданъ первый томъ его сочиненій, очень большая книга, содержащая всв его главныя, руководящія статьи, то это изданіе сразу, что называется, съло и почти вовсе не шло цълые десять лёть. Какимъ образомъ случился поворотъ въ этомъ дѣлѣ? Судя по всему, большая роль здѣсь принадлежить профессорамь русской словесности, изъ которыхъ мы можемъ назвать А. Д. Галахова, О. О. Миллера и А. И. Незеленова. Они въ своихъ ежегодныхъ курсахъ натвердили студентамъ имя Григорьева, какъ замфчательнаго критика. Какъ бы то ни было, но только, вообще, значение Григорьева, незримо для текущей литературы, очень возрасло къ послъднему времени, и когда цена на его книгу была сильно сбавлена, книга

разошлась съ удивительной быстротою; отъ 2.000 экземпляровь осталось уже очень мало. Правда, пришлось прибъгнуть къ тъмъ лавочкамъ, которыя умъютъ лучше продавать, чъмъ магазины.

Пусть извинять намъ эти подробности; вѣдь эта книга принадлежить къ числу тъхъ, которыя, когда бываютъ прочитаны, уже навсегда удерживають подъ своею властью читателя, такъ что число читателей туть очень близко къ числу почитателей. Кто вникнетъ въ Григорьева, тотъ пойметъ, что такое истинная критика, и уже никогда не смѣшаетъ ее съ тѣми разсужденіями и разглагольствіями, которыя слывуть подъ ея именемъ. Обыкновенно, само художество, само творческое произведение бываеть отодвигаемо на второй планъ передъ соображеніями цінителя и судьи. У Григорьева же главное мъсто всегда принадлежало художеству, а не его критику. Поэтому-то для его глазъ въ словесныхъ произведеніяхъ открывалась самая глубокая ихъ значительность; онъ видёлъ и понималъ ихъ внутреннее біеніе, ихъ тайный ростъ изъ души человѣка. Искусство было для него самымъ лучшимъ, самымъ полнымъ откровеніемъ жизни; поэтому онъ уловлялъ самыя сокровенныя нити, связывающія искусство съ жизнью и умёлъ идти за художникомъ всюду, куда тотъ поведетъ. Онъ называлъ это органическою критикою, такъ какъ «организмъ» есть синонимъ всякихъ внутреннихъ связей и всякаго своеобразія. Поэтому, также, критика Григорьева имѣла направленіе къ націонализму; «національность» вѣдь есть одна изъ органическихъ категорій, неизбѣжная при разсмотрѣніи явленій человѣческаго міра. И если кому дорога мысль о нашей самобытности, тотъ никогда не забудетъ высокой оригинальности, съ которою эта мысль была приложена Григорьевымъ къ нашей литературѣ.

Значеніе Аполлона Григорьева будеть еще долго возрастать. Не только сдёланный имъ очеркъ литературнаго развитія отъ Карамзина до того фазиса, явленія котораго до сихъ поръ еще не завершились, есть единственный у насъ полный и органически-связный взглядъ на нашу литературу, но еще важнѣе, еще больше имѣютъ глубокой поучительности самые пріемы нашего единственнаго критика. Въ дѣлахъ ума главная заслуга всегда заключается не столько въ результатахъ, сколько въ методѣ, усвоивая который мы сами получаемъ способность продолжать дѣло.

Не пожалѣть ли намъ, что такъ рано ушелъ отъ насъ несравненный критикъ? Будемъ утѣшать себя, что онъ успѣлъ уже высказать свои главныя мысли; но, безъ сомнѣнія, онъ далъ бы намъ еще

много поучительнаго. Для него самого, впрочемъ, жизнь уже имъла мало свътлаго въ послъдніе его годы. Аполлонъ Александровичъ принадлежалъ къ темъ натурамъ, къ которымъ принадлежить большинство людей, действительно стоющихъ имени писателя, т. е. онъ былъ одаренъ крайнею впечатлительностью. Читатели, любующіеся хорошими писаніями, едва ли имфють понятіе о томъ, какою дорогою ценою нередко покупаются всь эти мъткіе взгляды, живыя и тонкія замьчанія, весь этотъ пламень мысли, бъгущій по строчкамъ. Обыкновенное условіе этого то, что на писателя многое действуетъ стократъ сильнее, чемъ на другихъ людей, что бываютъ вещи, поглощающія его душу, такъ что спокойствіе для него почти невозможно. А следовательно, страданіе всегда готово захватить его, и часто въ конецъ губитъ неосторожныхъ. Трудно себъ представить, какимъ бы образомъ Григорьевъ могъ перенести ту тяжкую четверть вѣка, которая прошла послѣ его смерти. Его, во всякомъ случав, должно было скоро замучить то разложение журналистики, паденіе чисто-литературныхъ вкусовъ и общее пониженіе текущей литературы, которое наступило послѣ польскаго возстанія. Душевныя свойства Григорьева для меня (какъ и для многихъ его знавшихъ) были чрезвычайно привлекательны, и, несмотря на безпорядокъ его жизни, эта симпатія ни разу не была во мнѣ нарушена, потому что никогда нельзя было у него встрѣтить ни единаго движенія мелочности или эгоизма. Онъ быль дѣйствительно широкій человѣкъ, истинно добродушный и беззавѣтно увлекающійся. И вотъ потомуто, что у него было не довольно эгоизма, слишкомъ мало осторожности и заботы о собственной особѣ, трудно было бы ему сберегать себя долгіе мрачные годы, и онъ рано оставилъ насъ.

Миръ праху твоему, незабвенный нашъ критикъ! Нынче, собираясь на твою могилу, мы должны со стыдомъ признаться, что твои свѣтлыя мысли и плодотворные взгляды до сихъ поръ еще мало нами усвоены и разъяснены; и мы должны, по крайней мѣрѣ, дать твердое обѣщаніе, что драгоцѣнное наслѣдство, которое ты намъ оставилъ, мы сохранимъ и завѣщаемъ его новымъ поколѣніямъ.

25 сент. 1889.

Послѣдній изъ идеалистовъ.

(Отрывокъ изъ ненаписанной повысти).

Посвящается Ю. П. П-ой.

Вы помните Павла Николаевича Т-хова; года два тому назадъ, когда онъ ненадолго прівзжаль въ Петербургъ, вы его видъли, и тогда же замътили, что онъ человъкъ очень изящный и тонко развитый. Но я его знаю давно, съ того времени, какъ я еще только поступалъ въ студенты университета, а онъ уже нъсколько лътъ быль военнымъ медикомъ. Онъ былъ старше меня годами десятью и, несмотря на то, мы, студенты, образовали около него кружокъ, очень къ нему расположенный. Онъ производилъ на насъ странное дъйствіе; въ немъ было спокойствіе, глубина котораго казалась неизміримою. Это не было однакоже спокойствіе апатіи или холодное равнодушіе полнаго отчаннія; повидимому онъ былъ спокоенъ светло и ровно. Оттого намъ было съ нимъ такъ

хорошо. При немъ, бывало, разговоришься и разболтаешься вволю: удивительный былъ мастеръ слушать и понимать все до тонкости. Заспоримъ, бывало, разгорячимся до подступа злости: онъ сейчасъ же точно руками разниметъ насъ и дастъ разговору спокойное теченіе. Часто въ то время нападала на меня молодая тоска; тогда я прямо шелъ къ нему и навърное зналъ, что просидъвши часъ-другой, 'уйду отъ него успокоенный и усмиренный.

Онъ былъ одинокій человѣкъ и водилъ знакомство со множествомъ разнокалибернаго народа. Но что же это былъ за человѣкъ? Чѣмъ жилъ онъ? То-есть, что составляло его радость и горесть, его внутреннюю жизнь? Никто не зналъ этого. Кромѣ его преданности медицинѣ, его постоянныхъ ученыхъ работъ, никто не зналъ за нимъ другаго, болѣе личнаго, болѣе живаго интереса. Онъ никогда не говорилъ о себѣ, никогда не высказываль своихъ желаній; не видать въ немъ было ни зависти, ни злобы; казалось, онъ никогда не испытываль ни особенныхъ восторговъ, ни особенныхъ огорченій.

Насъ это очень занимало. Въ то время, какъ мы вокругъ него ссорились, влюблялись, кутили, страдали или торжествовали самолюбіемъ, онъ оставался среди насъ неизмѣнно спокойнымъ и яснымъ.

На попойкахъ онъ пилъ не менѣе другихъ, но ни разу не сдѣлалъ и не сказалъ ни единой глупости. Мы повѣряли ему свои тайны; онъ никогда не впадалъ въ откровенность и всегда увѣрялъ, что ему нечего открывать.

Помню слова его, которыя очень удивили меня. Мы всѣ называли его прекраснѣйшимъ человѣкомъ и часто говорили ему это въ глаза. Однажды на такую рачь онъ возразиль мна съ большою живостію: "ничего во мнѣ нѣтъ прекраснаго. Развѣ вы не видите, что хвалите во мнъ одни отрицательныя качества? Что я не питаю никакихъ злыхъ мыслей и желаній, и не дійствую по какимъ нибудь глупымъ капризамъ-въ этомъ еще не большая заслуга. Отъ этихъ отрицательныхъ добродътелей никому ни тепло, ни холодно, а только мнъ скверно". Какъ такъ? спросилъ я. - "Да такъ; я деликатенъ-это соблазняеть того или другаго обращаться со мною назойливо; я уступчивъ-отъ этого многіе становятся требовательны ко мні: въ высочайшей степени; я не отказываю въ услугъ, когда могу-и непремънно находятся такіе, которые думають, что я обязань делать имъ всякія услуги; я незлобливъ-и вотъ почти постоянно чувствую, что кто нибудь старается взобраться мнъ на шею и хорошенько осъдлать меня".

«Все это пустяки», прибавиль онъ, смѣясь:- «да

прекраснаго-то тутъ мало. Я немножко порчу людей. Настоящій прекрасный человѣкъ тотъ, кто ихъ исправляетъ, кто имѣетъ силу надъ человѣческими душами. Люди, какъ лошади, любятъ, чтобы ими правили твердо и сидѣли на нихъ крѣпко. А я видите какой—ни на кого не сажусь, да и самъ на себя сѣсть не позволяю".

Странный человъкъ! Такъ мы ничего отъ него и не узнали. Я въ особенности приставалъ къ нему съ распросами; я говорилъ ему, что онъ самый скрытный человъкъ въ міръ, что странно, по чему онъ не можетъ открыться даже людямъ такимъ близкимъ, какъ я, что имъетъ же его жизнъ какую нибудь исторію, которая непремѣнно любопытна, какъ всякая исторія души человъческой.

"Не нужно, не нужно!» отвъчалъ онъ, смъясь:— "совершенно излишніе разговоры! Въдь вы меня знаете? Чего же вамъ больше?"

Наконецъ, однажды онъ проговорился. "Исторія!" сказалъ онъ:— «пожалуй, исторія и была; да только трудно, ужасно трудно разсказать ее".

Попробуйте! приставалъ я.

"Хорошо. Въ самомъ дѣлѣ, я подумаю объ этомъ. Только нужно вѣдь это написать, никакъ не иначе. Придется пожалуй возиться... Ну, когда нибудь!"

Это когда нибудь тянулось долго. Изрѣдка я

напоминалъ ему объщаніе, но онъ отвъчалъ, что ему некогда. Я думаль уже, что дъло пропало.

Пять лѣть тому назадь, ему пришлось по служов ѣхать въ провинцію, и съ тѣхъ поръ онъ живеть въ порядочной глуши. Мы переписываемся; но онъ не мастеръ на простыя письма, часто подолгу молчить; за то его рѣдкія письма, писанныя всегда по какому нибудь особому случаю, полны питательнѣйшаго содержанія. И вотъ не такъ давно я быль обрадованъ толстѣйшимъ пакетомъ: письмо въ шесть почтовыхъ листовъ! Оказалось, что тутъ по крайней мѣрѣ часть той исторіи, которой я добивался. Въ началѣ онъ кой кого ругаетъ, говоритъ о скукѣ своей жизни, потомъ объ обстоятельствахъ, неожиданно оставившихъ его на нѣкоторое время безъ дѣла, и затѣмъ продолжаетъ:

"Я вспомнилъ свое объщаніе. Знаете ли, почему я такъ долго откладывалъ его исполненіе, да и теперь такъ неохотно приступаю къ нему? Занимаясь опытною наукою, я привыкъ къ порядку, правильности, ясности; я когда-то очень любилъ математику. Но тутъ я боюсь, что не съумъю выражаться спокойно и отчетливо, что какъ нибудь невольно собьюсь въ туманъ или въ сторону... Попробую, однако.

"Дъло въ томъ, что я - существо нъсколько

особенное, не менѣе особенное, чѣмъ, напримѣръ, Гамлетъ Щигровскаго уѣзда. Съ ранняго дѣтства, съ тѣхъ поръ, какъ только я себя помню, я постоянно чувствовалъ въ себѣ эту особенность, сознавалъ, что она лежитъ въ самой глубинѣ моей души, въ самомъ корнѣ моей натуры. Въ извѣстномъ смыслѣ ее можно бы назвать идеализмомъ, или даже гамлетизмомъ; но гораздо лучше будетъ, если я, безъ всякихъ околичностей, разскажу вамъ, какъ было дѣло.

"Помню я себя очень рано; мнъ мерещится даже, какъ нянька держитъ меня на рукахъ передъ печью, въ которой варится картофель, -старое холерное время, когда карантины остановили подвозъ съйстныхъ припасовъ въ нашъ городокъ, и многимъ приходилось питаться однимъ картофелемъ. Но все это--сумерки, почти темная ночь для моей памяти. Съ величайшей живостью я помню, какъ вдругъ прошли эти сумерки, помню первое пробужденіе яснаго сознанія; оно дъйствительно походило на яркій лучъ солнца послъ темной ночи. Это случилось въ день смерти отца. Мић было тогда лѣтъ шесть, но до сихъ поръ сохранились въ моей памяти всѣ подробности. Въ ту ночь меня душиль кошмарь. Казалось мнѣ, что я лежу въ постели, и что къ самому моему лицу наклонилось какое-то страшное чудовище. Я. не имълъ силы пошевельнуться и не могъ взглянуть на него; а оно, наклонясь къ самому моему уху, глухимъ голосомъ ревѣло: "угу! угу!"... Меня разбудили, и какъ только я раскрылъ глаза, я увидёль, что вокругь меня дёлается что-то необыкновенное. Домъ былъ полонъ людей, плакали, разговаривали какимъ-то страннымъ, до сихъ поръ мною неслыханномъ тономъ. Что такое? Отецъ умеръ. Не помню первыхъ минутъ; едва мелькаетъ въ моей памяти трупъ отца, который я увидель изъ другой комнаты. Но когда сознаніе мало по малу прояснилось, оно все перешло въ чувство какого-то особеннаго изумленія. Проходили сутки, потомъ другія, третьи, а я все старался понять, что такое делается кругомъ и напряженно вглядывался и вслушивался. Все кругомъ меня, лица слова, мысли и движенія, все казалось мит чтмъто незнакомымъ и чуждымъ. А что такое быловсе это чужое и непонятное? Это была просто жизнь, это были проявленія жизни, разбуженныя и ускоренныя смертью. Не съумъю выразить этого дътскаго настроенія точными словами; скажу, какъ могу. Въ тъ минуты, я какъ будто въ первый разъ и съ глубокой ясностію чувствоваль, что я чужой для жизни, что я такъ сказать неживой, неживущій человіть. Жизнь стала для меня загадкою, для которой нужно искать разрешенія, темнымъ дѣломъ, требующимъ уразумѣнія. Все это время я быль тихъ и неподвижень; даже въ тв минуты, когда подступала печаль, когда слезы текли по моему лицу, меня не оставляла моя дума, и я напряженно вникаль; что же это такое? Я тогда же замѣтиль-и это меня поразило-что брать мой, почти мой ровесникъ, глубоко отличается отъ меня. Онъ очевидно жилъ, тогда какъ я не жилъ. Онъ принималъ во всемъ прямое, живое участіе; никакая дума не тяготъла надъ нимъ и не отталкивала его отъ жизни. Послѣ самаго горькаго плача, онъ скоро осущалъ глаза и весьма бодро вмѣшивался въ какія нибудь хлопоты, бъгалъ по двору, даже совершилъ какую-то шалость по случаю раздачи нищимъ денегъ и калачей. Я же только смотрёлъ и думалъ свою изумленную думу.

"Говорю вамъ все это подробно потому, что, для объясненія моего душевнаго строя, все это имъетъ величайшую важность. Представьте, что я, какъ вытаращилъ тогда глаза на жизнь, такъ и остался на долгое время съ вытаращенными глазами, что и въ моемъ отрочествъ и въ моей юности все мнъ казалось чужимъ и непонятнымъ, и что это глубокое и тяжелое раздвоеніе мало помалу утратило свою ръзкость только въ совершенно зръломъ возрастъ мужества, но навсегда оставило во мнъ свои слъды.

«Такова ужъ, видно, моя натура. Въ самомъ дѣлѣ, ужъ тутъ не можетъ быть и рѣчи о вліяніи окружающей среды. Согласитесь, что когда дѣло идетъ о шестилѣтиемъ мальчишкѣ, выросшемъ въ уѣздномъ городкѣ Россійской имперіи, то тутъ не можетъ быть и рѣчи о кружкѣ in der Stadt Moskau, о гегелевской энциклопедіи и тому подобныхъ предметахъ, на которые жалуется Гамлетъ Щигровскаго Уѣзда. Тутъ уже ясно, не среда, а натура есть причина всякихъ раздвоеній и гамлетообразныхъ настроеній. Мнѣ кажется, Тургеневъ погрѣшилъ, слишкомъ отчетливо указывая на причины, создавшія героя его удивительнаго разсказа.

«Что касается до меня, то, ссылаясь на свою натуру, я имъю для этого весьма твердыя доказательства. Въ самомъ дѣлѣ, въ своемъ идеализмѣ, или гамлетизмѣ, или какъ хотите, я похожъ на мать, а мать моя была въ этомъ отношеніи весьма замѣчательнымъ образчикомъ.

«Прежде всего, пожалуйста, не думайте, что я намѣренъ кощунствовать. Въ этомъ нѣтъ ника-кой надобности. Мать моя была невиннѣйшее и чистѣйшее созданіе, какое только я знаю. На ней не лежитъ не только какого нибудь самаго маленькаго грязнаго пятнышка, а даже малѣйшей темной полоски. Я не помню между нами даже

тѣни, даже возможности неудовольствія. Чѣмъ чаще я обращаюсь къ прошлому, къ той жизни, которая тогда насъ окружала, и которою ни я, ни она не жили, тѣмъ отраднѣе я останавливаюсь на свѣтлыхъ чертахъ матери.

«Дѣло въ томъ, что эта жизнь была въ сущности—ужасна. Первыя мои открытія, первыя мои мальчишескія наблюденія, которыя я, разумѣется, впослѣдствіи часто провѣрялъ и уясняль себѣ, составляютъ картину самаго мрачнаго характера. Вездѣ какъ будто однѣ адскія краски, смѣшеніе краснаго цвѣта съ чернымъ. Я не буду распространяться о взяткахъ и всякихъ притѣсненіяхъ, о дикомъ пьянствѣ и развратѣ, о соблазненныхъ женщинахъ и незаконныхъ дѣтяхъ, брошенныхъ гдѣ нибудь въ деревнѣ и умирающихъ отъ недостатка присмотра. Все это—вещи довольно обыкновенныя и далеко не самыя худшія изъ тѣхъ, которыя я видѣлъ. Въ тотъ ранній возрастъ,

Въ тъ дни, когда мнъ были новы Всъ впечатлънья бытія,

мнѣ попадались циническія, отвратительныя связи стариковъ и старухъ, попадались случан хуже кровосмѣшенія, наконецъ убійство, отрава, задушеніе.

«Помню я въ особенности одного барина, кото-

рый еще приходился намъ сродни и долго носился передо мною, какъ самое живое и яркое лицо, какъ человъкъ, въ которомъ жизнь била полнымъ ключомъ. Это былъ здоровый, красивый и бойкій баринъ, неистощимо-веселый, въ полномъ смыслъ душа общества. Онъ не пошелъ дальше третьяго класса гимназіи, но писаль чрезвычайно красивымъ почеркомъ и съ большимъ толкомъ, хотя при этомъ соблюдалъ свое собственное правописание и словосочиненіе. Былъ онъ на служов и женать. На службъ онъ былъ дока, грабилъ страшно и велъ дёла свои отлично. Жена его, крошечная женщина была тоже бойкая барыня, любила мужа безъ памяти и была красавица, какихъ мало. Но, хотя они жили ладно, мужъ былъ большой волокита и соблазияль замужнихъ женщинъ и девицъ. До сихъ поръ передо мною мелькаютъ объды и вечеринки въ его домъ, пирушки, на которыхъ главнымъ лицомъ, главнымъ свътиломъ самъ хозяинъ. До сихъ поръ какъ будто вижу его мощную фигуру, его красивое, оживленное лицо, великолъпныя кудри, и какъ будто слышу его смѣхъ, звучащій самою кипучею, самою удалою веселостью.

«Кончилось все это очень дурно. Дон-Жуанъ, тысячу разъ попадавшійся въ разныхъ бѣдахъ и тысячу разъ изъ нихъ вывертывавшійся, оказался, наконецъ, замѣшаннымъ въ одно уголовное дѣло. Онъ участвовалъ въ составленіи фальшиваго ду ховнаго завѣщанія. Долго онъ и тутъ бился и изворачивался; жена его бросила все и цѣлыя шесть лѣтъ съ удивительной энергіей хлопотала въ Петербургѣ, обивая пороги разныхъ дѣловыхъ людей и высшихъ присутственныхъ мѣстъ. Ничего не помогло: послѣ десятилѣтняго слѣдствія и разбирательства его сослали въ Сибирь. Не колеблясь ни минуты, жена поѣхала за нимъ и увезла съ собой дочь, милую дѣвушку, которая больше чѣмъ кто нибудь, напоминала мнѣ Татьяну Пушкина. Всѣ трое они умерли тамъ, очень скоро послѣ ссылки, и очень быстро слѣдуя другъ за другомъ.

«Любопытно это уголовное дѣло, въ которое такъ неосторожно замѣшался мой веселый взяточникъ и Дон-Жуанъ. Дѣло это — помѣщицкое, дѣло богатыхъ наслѣдствъ и завѣщаній. Тремъ сыновьямъ богатаго помѣщика наскучило ждать смерти отца. Они согласились между собою, какъто ловко придушили старика, и потомъ спокойно стали владѣть каждый своею частью имѣнія. Двое изъ нихъ были особенно дружны между собою; черезъ нѣсколько времени имъ пришла мысль—извести третьяго брата, который, сверхъ своей доли имѣнія, виноватъ былъ также тѣмъ, что не

принималъ прямаго участія въ убійствъ отца. И это предпріятіе было исполнено совершенно благополучно. Послѣ того, два оставшіеся брата долгое
время жили спокойно, оставаясь въ большой
дружбѣ и часто навѣщая другъ друга. Наконецъ,
одинъ изъ нихъ не выдержалъ, и попробовалъ,
пользуясь своими дружескими отношеніями, отравить другаго. Отравить-то онъ отравилъ и завѣщаніе фальшивое сдѣлалъ, но не успѣлъ совершенно схоронить концы. Дѣло какъ-то обнаружилось, и началось слѣдствіе.

«Исторія, однако же, этимъ не кончается. Разумъется, допросы, свидътели — все это ничего не значить; если бы дёло шло только офиціальнымъ судебнымъ порядкомъ, то его можно бы было замазать и устроить какъ нельзя легче. Но, къ удивленію и несчастію, на цёлую губернію сталъ нападать какой-то ужасъ. Всъ стали говорить о дълъ, какъ о страшномъ злодъйствъ, тогда какъ въ судъ это дъло нужно было представить, какъ пустую ошибку и недоразумѣніе. Помѣщикъ приняль свои мёры противь слуховь. Какъ только какой нибудь крестьянинъ или дворовый изъ усадьбы его покойнаго брата отправлялся въ городъ, онъ непремънно погибалъ, или пропадалъ на дорогѣ, или скоропостижно умиралъ по прівздѣ въ городъ. Такихъ случаевъ насчитали до десятка. «Разумѣется, тутъ или вовсе не начиналось дѣла, или если оно начиналось, то стараніями помѣщика тотчасъ было погашаемо. Но ничто не помогло: несмотря на всѣ усилія, помѣщикъ не ушелъ отъ каторги.

«Такова была эта жизнь, на которую я тогда безусившно таращиль глаза. Припоминая и соображая теперь всю обстановку, всю тогдашнюю житейскую атмосферу, я не вижу въ ней ни единой свътлой черты. Свътлаго и чистаго въ ней только и было что сиреневые кусты въ нашемъ саду, да моя мать.

«Среди всѣхъ этихъ черныхъ и мелкихъ и горячихъ страстей, мать моя является мнѣ чистою голубицею, и именно потому, что въ ней не было никакой страсти, никакой глубокой и сильной житейской черты. Она была чужда жизни, и не освоилась съ нею до самой смерти. Что она ни говорила, и что она ни дѣлала, все это было чистѣйшее подражаніе, подражаніе наивное, усильное и добросовѣстное, но совершенно неудачное.

«Припоминаю случай, который, по своей необычайной странности, рѣзко запечатлѣдся въ моей памяти. Дѣло въ томъ, что мать моя, эта чистая голубица, какъ я сейчасъ сказалъ, однажды меня высѣкла. Согласитесь, что это очень любопытно. Я тогда только что началъ ходить въ школу;

увлекаемый непреодолимымъ желаніемъ бѣгать, я оставилъ гдѣ-то на минуту свои книги; въ ту же минуту, разумѣется, онѣ были у меня украдены.

«Вину свою я понималь хорошо и очень боялся, чтобы мий не досталось отъ кого нибудь изъ семейства, но только никакъ не отъ матери. Когда я вернулся домой, мать, конечно, сочла нужнымъ сильно побранить меня. Но ея упреки и наставленія я выслушаль совершенно сиокойно; я чувствоваль, что она не уміть сердиться, что тутъ ніть и тіть и тіть нітьва, а все діблается потому, что такъ нужно.

«Тѣмъ, я думалъ, все и кончится. Вышло однакоже не такъ. Мать задумала на этотъ разъ разыграть роль строгой воспитательницы и прибѣгнуть къ самому несомнѣнному педагогическому средству для моего исправленія. Но какъ исполнить этотъ благоразумный замыселъ, вполнѣ предписываемый долгомъ матери? Дѣло было ужасно трудное и разрѣшилось престраннымъ образомъ.

«Наступилъ вечеръ; мы поужинали и наконецъ пошли въ дътскую спать. Только что мы улеглись и нянька унесла свъчу, какъ входитъ въ дътскую мать. Въ потемкахъ она сдергиваетъ съ меня одъяло и начинаетъ слабо хлестать меня какимито прутиками, непричинявшими ни малъйшей боли. Я, конечно, пустился ревъть, какъ этому и слъдуетъ быть при всякомъ надлежащемъ съче-

ніи. Мать скоро ушла, какъ я полагаю, совершенно довольная своимъ педагогическимъ геройствомъ, тѣмъ, что сдѣлала какъ другія, что поступила, какъ нужно. Увы! Она и не подозрѣвала, какъ мало тутъ настоящаго.

«Помню и другія сцены и случаи, рѣзко рисующіе природу матери. Гостили мы какъ-то у тетки, родной сестры матери. Домъ тетки иногда захлебывался народомъ и вообще кипълъ той жизнью, о которой я говориль вамъ. Въ обществъ, среди этой непонятной для нея жизни, матери моей, бывало, и не слыхать и не видать. Но за то, когда никого не было дома, когда оставались тетка и дъти, мать моя предавалась престраннымъ занятіямъ или, такъ сказать, обнаруженіямъ самой себя. Она была тогда еще молода; послъ отца она осталась лътъ двадцати съ небольшимъ; но кромъ того она всю жизнь сохраняла въ себъ что-то дъвическое и никогда не имъла ничего бабьяю. И вотъ у тетки она, бывало, выходитъ въ пустую залу съ «новъйшимъ пъсенникомъ» въ рукахъ. Потихоньку расхаживая и охорашиваясь, она начинаетъ тоненькимъ и слабенькимъ голосомъ пъть по этому пъсеннику: «Стонетъ сизый голубочекъ», «Среди долины ровныя» и т. д. Тетка, бывало, сидитъ и что нибудь работаетъ. Пѣніе продолжается часъ, или полтора.

"Всего больше меня уже тогда удивляло обыкновенное заключение этой сцены. Напфвинсь вдоволь, мать закрывала пъсенникъ и каждый разъ обращалась къ теткъ все съ тъми же словами. Именно, она очень нѣжно и плавно произносила: извини, милая сестрица, что я тебя безпокою. И тонъ, и смыслъ, и самый слогъ этихъ словъ приводили меня въ недоумѣніе. Обыкновенно мать съ теткой обращалась запросто, а тутъ вдругъ церемонін! Да и говорили они всегда иначе: извини, милая сестрица-было явное сочинение, и сочинение въ томъ самомъ нежномъ духе, въ какомъ были пѣсни. Поэтому выходилъ рѣзкій контрастъ, когда тетка, женщина вполнъ живая, отвъчала обыкновеннымъ человъческимъ языкомъ: полно, Саша, что за безпокойство.

"У тетки мы только изрѣдка гостили, но постоянно мы жили у бабушки, гдѣ было не до пѣсенъ. Бабушка... Но вѣдь этакъ я, пожалуй, никогда не кончу своихъ разсказовъ о матери. Будетъ и этого. Мнѣ хотѣлось только сказать, что я живо помню мать, и не могу ошибиться въ ея духовной природѣ. Изъ всѣхъ окружающихъ, я одну ее любилъ и вполнѣ понималъ. Она была со мною говорливѣе и откровеннѣе, чѣмъ съ кѣмъ нибудь изъ взрослыхъ. При этомъ она больше или меньше принимала на себя роль старшаго чело-

въка, вполнѣ опытнаго и знающаго свѣтъ и людей. Увы! на самомъ дѣлѣ она была такимъ же непонимающимъ и чуждымъ жизни ребенкомъ, какъ и я. Бывало, цѣлуя ея руки и глядя въ ея кроткое лицо, я слушалъ ея жалобы, ея сужденія объ окружающихъ лицахъ и дѣлахъ, и думалъ про себя: нѣтъ! это не то; это чужія рѣчи, подслушанныя у другихъ слова; мать только показываетъ видъ, будто она взрослая, будто она понимаетъ эту жизнь и участвуетъ въ ней такъ же, какъ и другіе.

"Итакъ, я вполнѣ увѣренъ, что то мое душевное настроеніе, о которомъ я говорю, я наслѣдовалъ прямо отъ матери, а не обязанъ имъ «средѣ», или какимъ нибудь случайностямъ. Сама природа, какъ видно, подшутила надо мною эту шутку. Произведя меня на свѣтъ, она отрѣзала пуповину, которая соединяетъ другихъ людей съ жизнью, и пустила меня гулять, не назначивъ мнѣ ни мѣста, ни времени, не давши мнѣ ни житейскаго инстинкта, ни родимаго улья. Тутъ есть, какъ вы видите, нѣкоторее сходство съ тѣмъ совершеннымъ отсутствемъ оригинальности, на которое такъ горько жаловался Гамлетъ Пигровскаго уѣзда.

"Такимъ образомъ, мнѣ приходилось, такъ сказать, собственными средствами добиваться пониманія жизни. Какая работа! Какъ дорого мнѣ стоило разрѣшеніе этой задачи! Все, что другимъ дается даромъ, что приходитъ къ нимъ само сособою, мнѣ приходилось брать съ бою, пріобрѣтать тяжелыми усиліями.

"Быть какъ всю, походить на другихъ людей, смотрѣть на жизнь такъ, какъ они смотрятъ и участвовать въ ней, какъ они участвують—вотъ въ чемъ состояла вся задача. Тысячи людей ни мало этимъ не затрудняются; для меня же это составляло египетскую работу, составляло затрудненіе, которое я едва одолѣлъ упорною борьбою. Такъ что, когда наконецъ я кое-какъ совладѣлъ съ дѣломъ, оказалось, что уже первые сѣдые волоски начинаютъ являться въ свой положенный срокъ...

"Разскажу все по порядку. Сначала дёло пошло очень хорошо. Прежде всего приходилось мий заняться собственнымъ обученіемъ и дать себй образованіе, какое слёдуетъ имёть всякому хорошо воспитанному человёку. Это первое мое предпріятіе уподобиться другимъ людямъ пошло весьма усибшно, хотя обстоятельства отнюдь мий не благопріятствовали. По смерти отца, домъ нашъ чтото скоро продали, и мы очутились въ очень стёсненномъ положеніи. Меня учили кой-чему и какъ попало. Пробовали было пихнуть меня къ дядё, человёку весьма достаточному, но тотъ прочель

мнъ длинное и весьма неблагосклонное наставленіе и ограничился темъ, что наняль мив учителя изъ семинаристовъ, коротенькаго человъка съ большимъ носомъ. Этотъ учитель училъ меня около года, и училъ хорошо, но обходился со мной недружелюбно, и въ видъ наказанія даваль мнъ щелчки въ лобъ. Затемъ, я былъ предоставленъ на волю Божію. Но, какъ я сказаль, я уже тогда самъ о себъ заботился. Мнъ было лътъ двъналцать, когда у меня сформировалось твердое желаніе приготовиться къ вступительному экзамену въ университетъ. Понемногу я сталъ приводить это желаніе въ исполненіе. Надобно зам'єтить, что въ нашемъ городкъ не было гимназіи, и слъдовательно не было ни одной точки, гдф бы уровень познаній подымался до высоты гимназическаго курса. Но я воспользовался всею тою массою учености, какую нашель вокругь себя. Жиль у насъ въ городъ ссыльный уніать, человъкъ одинокій, чужой всёмъ, его окружавшимъ; онъ охотно сталъ заниматься со мною и учить меня по латын и по французски. Зналъ онъ эти языки весьма посредственно, но все-таки зналъ. Исторію, географію, русскую словесность я приготовиль самь, безъ руководителя; нужно было только достать книги, и я помню, какъ я долго ухаживалъ за однимъ лысымъ и пьяненькимъ господиномъ. Питая любовь

къ наукамъ, онъ выписалъ себъ великую новость тогдашняго времени: Всеобщую исторію Смараїдова. В фронтно, это былъ единственный экземиляръ въ целомъ городе, и я добился-таки того, что онъ побывалъ въ моихъ рукахъ. Но всего трудне было справиться съ математикой. Сначала, при помощи уніата и другихъ, діло шло еще довольно хорошо; но чтмъ дальше, ттмъ меньше я находилъ цомощи у своихъ руководителей и, наконецъ, они вовсе меня оставили. Когда пришлось проходить логариемы, оказалось, никто въ городѣ не зналъ корошенько, что это такое. Помню, какъ я бъгалъ и хлопоталъ. Меня знали немножко въ городъ, знали, что и подаю надежды, и потому и довольно смёло обращался къ разнымъ лицамъ за совътомъ и помощію. На этотъ разъ все было напрасно. Я попробоваль было потревожить даже свдаго и краснаго старичка, отставного учителя гимназіи, который жиль у нась на краю города въ своемъ собственномъ домѣ, въ три окна на улицу. Онъ слылъ у насъ свътиломъ учености, и всъ знали, что у него въ кабинетъ стоятъ какія-то книги въ бѣлой кожѣ. Но на мою просьбу онъ откровенно сказалъ мнъ, что онъ, и когда учился, не зналъ хорошенько логариемовъ, а съ тъхъ поръ, занимаясь другими предметами, успёлъ совершенно позабыть ихъ.

"Дѣлать было нечего. Ученость моего родимаго городка была, очевидно, исчернана мною до дна, и нужно было положиться на собственныя силы. Сидѣлъ я сидѣлъ надъ книгою, думалъ-думалъ, и кончилъ-таки тѣмъ, что одолѣлъ логариемы. Помню свою радость; иомню восторгъ, въ который пришелъ мой уніатъ. Когда онъ убѣдился, что я не обманываюсь, когда увидѣлъ, что я понимаю лучше и быстръе его, добрый старикъ чуть не заплакалъ отъ удовольствія. Онъ называлъ меня геніемъ, онъ предвѣщалъ мнѣ великую и славную будущность. Увы! Онъ, какъ видно, не зналъ, что есть въ жизни тысячи и тысячи вещей, которыя гораздо труднѣе сдѣлать, чѣмъ самому понять логариемы!

"Обращаюсь къ своему разсказу. Такимъ образомъ, къ шестнадцати годамъ, то есть какъ разъ къ наименьшему законному сроку, я вполнѣ приготовилъ себя къ поступленію въ университетъ. Оставалось только добраться до университета. Видя мои успѣхи, какія-то добрыя души пожертвовали на мою поѣздку двадцать рублей серебромъ.

"На эти деньги нужно было добраться до Петербурга, а до него было полторы тысячи версть. Пофхаль я одинь. Часть дороги сдълаль на баркѣ, которую тянули бичевою, другую часть на троечникахъ, въ рогожной кибиткѣ напереди повозки.

Меня надули рубля на три, а впрочемъ я дойхалъ благонолучно.

"И вообще, тутъ уже все пошло благополучно и не было нужды въ какихъ нибудь особенныхъ усиліяхъ. При самомъ вступительномъ экзаменъ, профессора тотчасъ замѣтили, что я самоучка, и это послужило мнѣ въ великую пользу. По отмѣткамъ, которыя я получиль, не только меня приняли въ студенты, но даже дали мн стипендію, шесть рублей серебромъ въ мѣсяцъ. Годъ я пробился на эти деньги, но увидёль, что дёло идеть плохо, и перешель въ медицинскую академію, гдф такъ легко принимали на казенный счеть. Тутъ кончились мои первыя волненія. Книгъ передо мною открылись цёлыя библіотеки. Лекціи, лабораторіи, музеи-все было къ моимъ услугамъ. Оставалось только работать. И я работаль со всёмь успёхомъ, какого только могъ желать. Я одолъвалъ курсъ за курсомъ, предметь за предметомъ; всегда быль изъ самыхъ лучшихъ, всегда получалъ похвальные отзывы и медали; наконецъ, достигъ ученыхъ степеней и правъ, съ ними сопряженныхъ; но главное-вполнъ достигъ права считать себя образованнымъ челов комъ.

"Да онъ хвастунъ и самохвалъ! въроятно сказали бы многіе, прочитавши это. Но на васъ я надъюсь, вы этого не скажете. Вы хорошо нови-

маете, что во всемъ, что я сейчасъ разсказалъ, я не приписываю себъ никакого достоинства. Такъ я смотрёль на это дёло оть самыхь юныхь літь, такъ смотрю и теперь. Меня всегда нѣсколько удивляли обыкновенныя рачи о "вліяніи среды", "борьбъ съ гнетомъ обстоятельствъ" и т. п. Такъ какъ я былъ глубоко чуждъ жизни, то мнъ казалось, что среда не имфетъ надо мною никакой власти, что у нея нфтъ, такъ сказать, никакой точки приложенія ко мнѣ. Поэтому, мое отношеніе къ средъ всегда было таково, что не она на меня дъйствовала, а я на нее. Я налегалъ на нее и она подавалась и очищала мнѣ дорогу; всякій шагь нужно было завоевать, но я не видель туть ничего страннаго. На всякое встрѣчное препятствіе я смотрёль точно такъ, какъ обыкновенно смотрять на экзамены. Выдержань экзамень-хорошо; невыдержанъ-значить, не стоишь того, чего добивался. Была у меня силёнка, я и работалъ ею, въ полной увъренности, что завоюю столько, сколько соотвътствуетъ размърамъ моей силы. Поэтому, я никогда ни на что и ни на кого не жаловался, никого не обвинялъ въ моей судьбъ; я считаль это стыдомь и малодушіемь.

"Въ самомъ дѣлѣ, если бы я былъ человѣкъ вполнѣ живой, если бы жизнь несла меня своею теплою волною, кружила меня своими круговоро-

тами, увлекала въ ту или другую сторону, я могъ бы иногда, оглянувшись, пожаловаться на уносившее меня теченіе. Но этого не было; я въ полномъ смыслѣ слова самъ создавалъ свою судьбу; я привыкъ къ этому съ дътства и долго думалъ, что это совершенно въ порядкъ вещей. Слъдовательно, тутъ не могло быть ни жалобъ, ни гордости. Прибавьте къ этому, что силу свою я считалъ вовсе небольшою; вокругь себя я всегда видёль людей, которые были сильнее меня; мне приходилось постоянно напрягаться, и все-таки, какъ ни трудно бывало мнъ, я никогда не приходилъ къ мысли, будто я имфю на что нибудь право безъ соотвътствующаго усилія съ своей стороны. Поэтому, я не завидовалъ и не гордился. Въ каждой неудачъ и въ каждомъ своемъ недостаткъ я обвинялъ только самого себя. Я смотрёль самъ на себя, какъ скульпторъ на свое произведение, я самъ себя лѣпилъ и обтачивалъ. Живо помню, что у меня нѣкоторое время мелькала мысль-измѣнить черты своего лица, сдёлать ихъ более правильными. Я не остановился на этой мысли только на основаніи того соображенія, что было уже поздно, и потому ограничился увфренностію, что если не черты, то выражение лица все еще вполнъ отъ меня зависитъ.

"Таковъ былъ этотъ странный взглядъ, это

противоестественное настроеніе, которое, однакоже, какъ я вамъ докладывалъ, было вложено въ меня самою природою. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, эта противоестественность обнаруживалась очень явно, но я не обращалъ на нее вниманія. Были, напримѣръ, науки, которыя не гармонировали съ естественнымъ складомъ моего ума; но я ломалъ себя, и добивался-таки хорошаго изученія.

"Всего хуже здѣсь было то, что все это время я быль очень доволень собою. Пока я себя обучаль и образовываль, пока достигаль до того, что, подобно Гамлету Щигровскаго уѣзда, наконець "понималь Гегеля и зналь Гёте наизусть", я воображаль, что занимаюсь чрезвычайно важнымь дѣломь, и очень радовался, что оно идеть успѣшно. Между тѣмъ, этотъ успѣхъ служиль къ моей пагубѣ. Онъ ослѣпляль мепя, отвлекаль мое вниманіе и даваль полный просторь моему странному душевному направленію.

"Пока я читалъ книги и изучалъ всякія науки, отчужденіе отъ жизни во мнѣ развилось и выяснилось въ отчетливыя формы. Этихъ формъ двѣ: положительная и отрицательная. Положительная состоитъ въ томъ, что мы создаемъ для жизни идеалъ, отрицательная—въ томъ, что мы дѣйствительную жизнь ни въ грошъ не ставимъ.

"Очень рано началась у меня идеализація, и

такъ сильна была она, что, опять, я могу приписать ее только своей природъ, а не чему другому. Съ дътства передо мною стали носиться какія-то чудныя, радужныя явленія. Неизвъстно откуда, изъ какой-то недостижимой глубины души возникли во мив свътлые образы, чистыя чувства, сладкіе звуки, представленія героическихъ чувствъ и дѣйствій. Гдѣ и какъ все это существуеть, я не зналь, но твердо върилъ, что все это не только есть, но и непремънно должно быть. Очерки этихъ видъній были неопредѣленные, но несмотря на то, они потрясали меня до глубины сердца, владёли всею моею душою. Какъ будто какой-то огромный и прекрасный міръ таинственно прикасался ко мнѣ; какъ будто совершались какія-то сверхъестественныя откровенія.

"Не могу описать всей прелести, всей высоты, всей ослѣпительной яркости, въ которой являлись передо мною идеалы. Это было дѣйствительно царство свѣта и красоты. Удивительныя молніи, безконечно-прекрасныя зарницы безпрестанно вспыхивали въ моей душѣ. Казалось бы, откуда имъ было взяться? А между тѣмъ, онѣ заливали всего меня своимъ сіяніемъ.

"Я выражусь вполнѣ точно, если скажу, что у меня все стало двоиться въ глазахъ, и что это двоенье понемногу укрѣпилось и стало хроническимъ. Каждый предметъ, который занималъ и поражалъ меня, являлся мнѣ вдвойнѣ: во первыхъ, въ своемъ идеальномъ видѣ, и во вторыхъ—въ своей дѣйствительности. Эти два образа отдѣлялись одинъ отъ другаго чрезвычайно рѣзко. Смѣшать ихъ или слить я никакъ не могъ и вѣрилъ не въ дѣйствительный, а въ идельный. Поясню это примѣрами.

"Изъ дѣтства на меня сильно дѣйствовали звонъ колокола, сіяніе луны, церковное пѣніе, дымъ кадила, стихи, и тому подобное. Но это дѣйствіе было не простое, а всегда, такъ сказать, преломленное и отраженное.

"Звонъ колокола возбуждалъ во мнѣ высокое и чистое благоговѣніе. Но при этомъ мнѣ всегда воображался другой храмъ и другой народъ, спѣшащій по звону въ храмъ. Наша же церковь, по моему, не гармонировала съ этимъ звономъ; я зналъ, какъ она стара и бѣдна; и народъ, собиравшійся на звонъ, я также зналъ; я зналъ, что въ немъ нѣтъ благоговѣйнаго чувства, которое отзывалось во мнѣ.

"Любилъ я свътъ луны и всегда любовался лунными ночами. Но при этомъ мнъ неотстунно мерещилась какая-то невъдомая сторона, какіе-то чудные сады и зданія, на которые падаетъ, или могъ бы падать, или долженъ бы былъ падать этотъ самый лунный свътъ. "Дымъ кадила, проръзываемый лучами солнца, казался мнъ чъмъ-то величественнымъ и необыкновенно ласкалъ мой глазъ. Но меня возмущала кадильница, измятая, закопченная. Притомъ мнъ воображался другой, совершенно чистый, идеальный дьяконъ. А этотъ.... я въдь его знаю, онъ человъкъ хотя лысый, но дрянной и глупый; вижу я, зачъмъ онъ посматриваетъ по сторонамъ во время своихъ поклоновъ, и никакъ не могу я помириться съ его грязными пальцами и нелъпо сложеннымъ кулакомъ.

"Всего яснѣе дѣло будетъ на стихахъ. Казалось бы, чего проще? Любишь стихи, вотъ они на лицо, наслаждайся ими. Но мое наслажденіе было далеко неполно. Я чувствовалъ, что ни я, ни другіе не умѣютъ произносить стихи; я воображалъ ихъ въ чистыхъ устахъ человѣка, который самъ полонъ возвышенныхъ чувствъ, изображаемыхъ ими; въ этомъ идеальномъ чтеніи, казалось мнѣ, они получаютъ такое благозвучіе и трогательную силу, что при одномъ представленіи слезы набѣгали мнѣ на глаза.

«И вотъ, изъ такихъ образовъ и мечтаній я создалъ себъ цълый міръ дивной красоты, цълую жизнь идеальнаго совершенства. Душа моя вся наполнилась этими образами, вся увлеклась этими стремленіями, вся жила этою жизнью. Какъ только

передо мною мелькнули первые проблески этого свътлаго міра, у меня была и могла быть только одна цъль—достигнуть его во что бы то ни стало, дойти до тъхъ людей, до явленій и фактовъ, которые вполнѣ принадлежатъ къ этому прекрасному міру.

«Я и пошель на встрвчу къ нему, пошель съ твердой вврою и надеждою. И долго я шель, узнаваль много людей, видвль много мвсть, предавался многимъ занятіямъ, трудился усиленно и долго, и всетаки чувствоваль, что я далекъ отъ обътованной земли. Казалось, она уходила передъ моими глазами по мврв того, какъ я подавался впередъ, какъ будто вся эта идеальная жизнь въ двйствительности была только миражемъ, только обманомъ воображенія.

«Но не будемъ забъгать впередъ. И говорю еще о годахъ своего ученія. Вы понимаете, что въ сравненіи съ моимъ идеальнымъ міромъ все окружающее меня должно было тускнѣть и обезображиваться. Отъ чистаго и яркаго свѣта, къ которому я обращалъ свои глаза, падала на дѣйствительность густая тѣнь ничтожества. Все, что я видѣлъ вокругъ себя, не имѣло въ моихъ глазахъ ни искры прекраснаго, все было грязно и мелко до высокой степени. И себя самого я считалъ существомъ ничтожнымъ, такъ что я не могъ прини-

мать себя даже за источникъ моихъ высокихъ мечтаній. Они были и бчто святое, я же быль пошлъ и грязенъ, хотя и возлагалъ на себя большія надежды, хотя и объщалъ себъ пробиться когда нибудь до того заколдованнаго міра, гдѣ все было такъ прекрасно и высоко. По временамъ я чувствовалъ сильное отвращеніе къ самому себъ и ко всему, что мнѣ ни принадлежало, къ моимъ рукамъ, къ платью, къ сапогамъ, къ моему голосу и проч.

«Изъ этого вышло нѣчто не совсѣмъ хорошее. Пока я учился, пока занимался такимъ важнымъ дѣломъ, я сталъ очень небрежно слѣдить за собою въ другихъ отношеніяхъ. Я отлагалъ свою жизнь до другаго времени, я воображаль, что только готовлюсь къ жизни, а между тъмъ я уже жилъ и только не хотълъ замъчать, что я живу. Я дружился и ссорился, радовался и злился; состраданіе, самолюбіе, чувственность-всякаго рода страсти и страстишки заговаривали во мнъ. Но я смотрълъ на нихъ презрительно, я все это не ставиль въ счеть; такимъ образомъ, эти первые всходы добра и зла не укрѣпились и не разрослись, а дали пустоцвътъ. Это было очень дурно. Я смотрълъ свысока на то, что любилъ, и не отдавался ему всею душою. Живыя и теплыя струн пробивались въ душъ глупаго мальчика, но онъ не давалъ имъ цѣны, и онѣ изсякали. Съ другой стороны, я относился къ злу съ такимъ же равнодушіемъ. Случалось, что я лгаль, обманываль, дълалъ маленькія подлости, и все это не ставилъ въ счетъ, не думалъ, чтобы это марало меня и клало на меня пятно. Послъ всякой такой случайности я отряхивался, какъ гусь, попавшій въ воду, и думалъ: все это вздоръ; когда я начни жить, у меня, разумъется, ничего подобнаго не будетъ. Точно также, въ первую эпоху юности, когда всего меня охватила жгучая жажда наслажденій, я пиль, развратничаль и предавался всякимъ мерзостямъ, но никогда, даже въ минуты самаго сильнаго чада, я не отдавался потоку вполнт, и все думаль: это такъ, мимоходомъ, не въ счетъ настоящей жизни. И въ самомъ деле, мнъ казалось, что разныя гадости, въ которыхъ мнъ случалось запачкаться, спадали съ меня какъ шелуха, что я оставался цёломудренъ послё всякаго распутства. Въ сущности же было не такъ; силы тратились и на душу ложились неизгладимыя черты.

«Такимъ-то страннымъ образомъ, пока я учился, я все откладывалъ, все выжидалъ, все готовился; а когда кончилось ученье, оказалось, что я ровно ни къ чему не готовъ. По выходъ изъ академіи, я сейчасъ почувствовалъ страшную неловкость. Посл'є первых попытокъ, я опять на н'єсколько л'єть боязливо зарылся въ книги; но нужно же было наконець перестать прятаться; волей-неволей—я выступиль въ жизнь, я началь наконець настоящую жизнь.

«О молодость моя, молодость! Какъ трудно ты мив досталась, какъ дорого мив стоила! Эти годы, для другихъ такіе свѣтлые и радостные. были для меня годами муки и тяжелой, безотралной борьбы. «Живу я» — говорить Гамлеть Щигровскаго убзда-«словно въ подражаніе разнымъ мною изученнымъ сочинителямъ, въ потъ лица живу; и учился-то я, и влюбился, и женился, наконецъ, словно не по собственной охотъ, словно исполняя какой-то не то долгъ, не то урокъ-кто его разберетъ! > Вотъ нѣчто подобное случилось и со мною. Сталь я жить въ подражание того, какъ должно жить, какъ следуеть жить. Сталь я ломать себя и сталъ изъ себя строить Богъ знаетъ что. Какихъ масокъ я на себя не надъвалъ! Какихъ гримасъ не корчилъ! Бывалъ я и вдохновеннымъ юношею, и мрачнымъ страдальцемъ; говорилъ я на разные голоса, то чрезвычайно нѣжно и плавно, то отрывисто и съ восклицаніями, было даже время, что я наклоняль голову на лѣвую сторону, чтобы походить на Александра Македонскаго.

«Но между тёмъ, какъ я кривлялся такимъ обра-

зомъ, холодная тоска грызла меня и не давала мнѣ заиграться. Фальшь! Маска! Комедія! Этотъ голосъ постоянно раздавался во мнѣ. Одну за другою бросалъ я свои гримасы; я хотѣлъ настоящей, дѣйствительной жизни; и потому подражаніе скоро становилось мнѣ глубоко противно.

«Здѣсь именно мѣсто коснуться важнаго предмета—моихъ любовныхъ похожденій. Хотя я началь ихъ рано, чуть ли не съ двѣнадцати лѣтъ и упражнялся въ нихъ усердно, но, разумѣется, я никакъ не могъ быть въ нихъ особенно счастливъ. Женщины не могли чувствовать большаго расположенія къ человѣку, у котораго постоянно сидитъ какой-то странный гвоздь въ душѣ, и отдавали предпочтеніе другимъ, иногда даже весьма плохенькимъ господамъ, отъ которыхъ вѣяло большимъ тепломъ и увлеченіемъ.

«А какія я глупости дѣлалъ — Боже, какія глупости! Когда вспомнишь, то и покраснѣешь, и головой мотнешь, и даже застонешь отъ досады! Увѣряю васъ, что никакимъ Чулкатуринымъ и прочимъ лишнимъ людямъ, какъ Тургенева, такъ и другихъ нашихъ писателей, въ этомъ со мной не сравниться.

«Кончилось все это тѣмъ, что я впалъ въ отчаяніе и рѣшился оставить всякую борьбу. Жизнь мнѣ не давалась. Ни одна черта изъ моего идеальнаго міра не сбывалась на дёлё. Я чувствовалъ, что другіе пьютъ изъ этой чаши, но мнѣ, несмотря на всѣ мои усилія, не удалось и прикоснуться къ ней губами.

«Я опустиль руки. Я притихь и замолкъ. Каждое свое слово я считаль или сочиненіемъ, или глупостью, и потому я пересталь говорить. Свою радость и печаль, свои отношенія къ людямъ, каждое свое движеніе я находиль или пошлымъ, или натянутымъ, и я постарался сократить ихъ сколько возможно. Я двигался и говорилъ лишь на столько, чтобы не показаться страннымъ, и быль радъ, что меня не замѣчали.

«Такъ прошло нѣсколько лѣтъ. Я не побоялся бы тогда смерти, потому что жить мнѣ тогда рѣшительно было не для чего.

«И что же вы думаете? Вѣдь это прошло, какъ проходитъ тяжая, но не смертельная болѣзнь. Годы молчанія и тишины отрезвили меня и успокоили, какъ крѣпкій сонъ. Я думаль, однако, что мнѣ придется дойти до могилы въ этой сонной апатіи. Но случились со мной неожиданно вещи, отъ которыхъ я вдругъ сталъ просыпаться; я вдругъ почувствовалъ въ душѣ живыя, теплыя движенія и встрѣтиль ихъ съ неописаннымъ вссторгомъ. Пробудилась мысль и стала дѣйствовать; заговорило чувство — я сталъ понимать людей и

вступилъ съ ними въ настоящія, непризрачныя отношенія; я захотѣлъ говорить и сталъ употреблять слова въ ихъ истинномъ смыслѣ. Я сталъ думать своею головою, чувствовать своимъ сердцемъ, говорить своимъ голосомъ. Да, это приходила жизнь, это она, та самая, которая съ дѣтства плѣнила меня своимъ идеаломъ, которой я такъ долго искалъ, такъ ревностно добивался, по которой тосковалъ и приходилъ въ отчаяніе. И пусть немного мнѣ досталось ея на долю, пусть первые лучи ея я встрѣтилъ

Nel mezzo del cammin di nostra vita,

когда уже сѣдина стала прокрадываться въ волосы, пусть не сбудется и малѣйшая доля моихъ надеждъ, я все-таки, когда буду умирать, благословлю свою судьбу. Ибо глаза мои увидѣли спасеніе; ибо наконецъ во очію стало совершаться то, во что я такъ жарко вѣрилъ, въ чемъ полагалъ всю цѣль и все достоинство жизни.

«И притомъ, тутъ уже не было какого нибудь обмана или самообольщенія! Нѣтъ, я не могъ обманываться! Послѣ всѣхъ моихъ волненій, послѣ всѣхъ мучительныхъ усилій и попытокъ, послѣ всѣхъ мытарствъ, въ которыхъ я извѣдалъ всякую фальшь, всякое искаженіе и извращеніе души, — я уже могъ безошибочно различать дѣй-

ствительное и настоящее отъ призрачнаго и напускного. Я ясно видѣлъ, что то, что я призналъ за жизнь, въ чемъ ставилъ красоту и достоинство человѣческаго существованія, то́ дѣйствительно есть жизнь, а не что нибудь другое.

«Вы, можеть быть, поймете теперь мое спокойствіе, о которомь вы столько толковали. Я вовсе не счастливь. Но кто-же сказаль, что жизнь легка? Какъ могли возникнуть относительно жизни такія легкомысленныя понятія? Какимъ образомъ явились эти постоянныя дѣтскія надежды на сладость жизни, и какъ случилось, что люди до сихъ поръ не привыкли къ разрушенію этихъ надеждь? Можетъ быть, въ этомъ виновата та радость бытія, которая свойственна всякому живому существу; можетъ быть, это очень естественное заблужденіе, но во всякомъ случаѣ заблужденіе. Нѣтъ, жизнь есть нѣчто тяжелое, трудное, нѣчто ѣдкое и глубокое, потрясающее своею серіозностію.

«Какъ мы привыкли къ легкомыслію! Какъ мы легко въримъ тому, чего хотимъ! Мы привыкли думать, что истина, блаженство и красота такъ и сіяютъ надъ міромъ, такъ и заливаютъ его своими лучами, что ихъ такъ легко достигнуть, такъ нетрудно, пожалуй, даже обнять и исчерпать! А между тъмъ они недоступно-высоки и безконечно-необъемлемы. И потому безумно было бы, если-бы

человѣкъ сталъ рваться и метаться изъ-за того, зачѣмъ онъ не обладатель полной мудрости, почему не сіяетъ передъ нимъ вѣчная красота, отчего блаженство не наполняетъ до краевъ его души. Какіе бы прыжки мы ни дѣлали, такихъ вещей прыжками не достанешь. Но святотатственно и кощунственно будемъ мы дѣлать, если не будемъ благоговѣть передъ тѣми лучами, которые все-таки падаютъ на насъ изъ этой области свѣта, если отвернемся отъ нихъ, вмѣсто того, чтобы любить ихъ и жить ими, перенося изъ-за нихъ тоску и горечь жизни.

«Теперь мнѣ слѣдуетъ разсказать вамъ, какимъ образомъ случилось мое усмиреніе, въ которомъ я почувствовалъ себя счастливѣе, чѣмъ въ моей гордости, разсказать подробности того, какимъ образомъ уже не я сталъ управлять жизнью, а жизнь захватила и понесла меня. Съ такимъ слѣпымъ человѣкомъ, какъ я, это должно было случиться совершенно неожиданно. Такъ это и было. Это случилось такъ, что душу мою неожиданно поразили жалость, любовь и страхъ. Человѣкъ живетъ собственно сердцемъ.....

«Но вотъ меня зовутъ къ больному. Сердце-то кстати случилось. Прощайте пока. Авось доскажу въ другой разъ. Счастливы вы, что на меня напало нынче какое-то особенное расположение духа.

Ну что за занятіе — толковать о себѣ самомъ? Скажи мнѣ, что ты сдѣлаль, и я скажу тебѣ... Однако, не погудка ли это опять на старый ладъ гордости и безжизненности?

«Еще разъ прощайте, и пожалуста любите меня.

«20 марта 1865 г.»

Это письмо я получиль, какъ видятъ читатели, больше года тому назадъ. Съ тѣхъ поръ напрасно я упрашивалъ Павла Николаича продолжить свой разсказъ; онъ или молчалъ, или, присылая мнѣ письма совершенно инаго содержанія, отзывался на мон просьбы, что ему некогда. Я написалъ ему, что хочу напечатать этотъ отрывокъ изъ его ненаписанной повѣсти. Онъ отвѣчалъ мнѣ письмомъ, въ которомъ были только эти слова:

«Печатайте. И безъ того вѣроятно прочитали сорока своимъ пріятелямъ».

«Вашъ II. Т...ховъ».

30 апр. 1866 г.

Пусть теперь читатели судять, правъ ли я быль, полагая, что стоить напечатать этоть отрывокъ. 12 мая 1866 г.

DESCRIPTION 29

"He now here sonym an ferthrosty. Comments never cryoneses. Resonants now. Anne assure me approximate personal form the mass many states and the mass comments of the states and the second sec

Стихотворенія.

Комета.

(Писано въ 1859 г., когда видна была комета Донати).

Вотъ ночь, и странными лучами Опять небесный сводъ блеститъ: Межъ помраченными звѣздами, Ихъ застилая волосами, Звѣзда косматая горитъ.

Какъ будто, въ бѣшеномъ стремленьи Хвостъ разметавши за собой, Она, полна недоумѣнья, Остановилась на мгновенье, Надъ потемнѣвшею землей.

Невольно думаю: комета! Увы! Въ былыя времена Ты, какъ зловъщая примъта, Была бы ужасомъ полсвъта, Для мудреца и для поэта Томящей тайною полна.

И я, средь черныхъ размышленій, Тебя бы спрашивалъ съ тоской: "Что ты? Какой грозящій геній, Властитель дольнихъ покольній, Изъ тьмы небесь летить съ тобой?

"Или, какъ на стѣнахъ чертога Незримый нѣкогда писалъ, Такъ и тебя—не перстъ ли Бога, Какъ букву заповѣди строгой Огнемъ на небѣ начерталъ?"

Но, слава Вышнему! Познали Мы духъ, которымъ міръ хранимъ, Вѣка проклятья миновали, И думы страха и печали Прошли—и не вернуться имъ.

Передъ сіяньемъ мысли смѣлой Распался древній неба сводъ, И безъ конца и безъ предѣла Пространство мрака просвѣтлѣло И мірозданья тайный ходъ.

И нынѣ, радостно, комета, Гляжу я, какъ блистаешь ты; Ты не грозящая примѣта,— Для взора вѣщаго поэта Ты—искра будущаго свѣта Среди царящей темноты.

Настанутъ дни—міръ обновится, И человѣкъ, согбенный въ прахъ, Надъ міромъ смѣло воцарится И ничего не устрашится Ни на землѣ, ни въ небесахъ.

Грёзы.

Въ тиши моей жизни ничтожной, Въ досадъ пустыхъ огорченій И въ шумъ пустаго веселья Дремлю я душою тревожной.

Но, полный тяжелой дремоты, Я чувствую,—сердце тоскуеть, И снится, и грезится вѣчно Ему—непонятное что-то.

Какія-то дивныя рѣчи, Какія-то крѣпкія силы И мысли и чувства святыя.

И мѣсяцъ, и звѣзды, и розы, Какая-то грусть безъ предѣла, И ласки, безумныя ласки, И слезы, горячія слезы.

Несчастны мы.

Несчастны мы! Отъ юныхъ дней Средь жизни будничной и нищей Мы вскормлены святою пищей Высокихъ мыслей и ръчей.

Мы, какъ сокровище, до гроба Въ душѣ безсильной ихъ хранимъ, А сами—каждый день творимъ Дѣла безсмыслія и злобы.

И тоть, кто тайну высшихь благь Постигнуль мыслію безгрёшной, Кто каждый день—объ этихь дняхь Скорбить душою безутёшной,

Когда онъ свътъ души своей Во тьмъ идущимъ предлагаетъ— Несчастны мы!—отъ юныхъ дней И мысль, какъ дъло, погибаетъ!

1854.

Юность.

О, юность, юность, все ты молода!
Растущая кипитъ и рвется сила;
Собой и міромъ вѣчно ты горда,
Какъ будто нынче небо міръ покрыло
И шумная въ моря стеклась вода,
И ночью вдругъ зажглись небесъ свѣтила;
Какъ будто солнце всходитъ въ первый разъ
И въ первый разъ забилось сердце въ насъ.

Давно ужь всходить солнце! И—съ начала Съ тёхъ поръ, какъ человъческимъ очамъ Оно въ сіяньи первомъ заблистало, Знакомъ восторгъ, знакомы муки намъ; Мольбой и стономъ небо прозвучало, И было время думамъ и дъламъ; Но юныхъ душъ безумство не остыло—Гордится умъ, кипитъ и рвется сила...

Заботы

Насъ гонятъ! Слышите, свистить Бичей размахъ неумолимый? Смотрите-черный рой летить, То рой заботъ неотразимый. Имъ нътъ числа, имъ нътъ конца, Все тѣ жь, а кажутся другими; Не обращая къ нимъ лица, Мы убъгаемъ передъ ними. Летимъ. Мелькаетъ день за днемъ, Мелькають годы за годами; Не время думать надъ путемъ И любоваться сторонами, Не время радоваться намъ И вспомнить и взгрустнуть не время; Что мимо-то осталось тамъ! Ничто не дорого, все бремя. Все-чувство, слово-тяжело; Бичъ свищеть безпощадно-строгій, И свътъ ума, души тепло Бросаемъ въ искрахъ по дорогъ. И бъдны свътомъ и тепломъ Спѣшимъ, сначала подымаясь Все выше, выше, а потомъ-Невозвратимо опускаясь. Летимъ, смыслъ жизни потерявъ; Тамъ бездна!... Что она? Не знаемъ! И не опомняся, стремглавъ Въ ту бездну мрака упадаемъ. 1853.

Жизнь.

Есть трепеть — присущій Природ'в и жизни людской, Есть глась — вопіющій Въ пустын'в души молодой.

Внезапно и смутно Промчится таинственный громъ, И видится — чудно Въ ночи непробудной Тъма міра сверкнула огнемъ.

И небо и землю,
И жизни красу и печаль
Я взоромъ объемлю,
И вижу, и внемлю—
Хаоса безбрежную даль.

Безумно отважно Гляжу я на ходъ міровой, И дивно, и страшно Свершается жизнь предо мной.

1857.

Міръ.

Мит мірт непонятный тревожить Всю душу мою изумленьемт, И сердце затихнуть не можетъ, Конца не найду размышленьямть.

И рвется душа — подѣлиться Таинственнымъ чувствомъ и словомъ, Что̀ Богъ-вѣсть откуда родится, Что̀ кажется вѣчнымъ и новымъ.

И знаю, куда ни пойду я, И сколько жить небо ни судить, Міръ дивный все тоть же найду я, Все сердцу покоя не будеть.

Ужели — незримой тропою, Безмольно тая изумленье, Задумавшись мыслью живою, Пройду я до гроба и тлёнья?

Или — эту мысль безъ границы И всю изумленья тревогу На бѣлыя бросить страницы, Какъ жертву незримому Богу?

1855.

Не върь себъ.

Въ минуту слабости душевной Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ! Все ложно въ жизни повседневной, И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ.

Смотри,— не знають люди сами, Что ихъ волнуеть и влечеть; То — кровь горячими струями Въ ихъ сердцѣ трепетномъ течетъ.

И дѣтямъ радостнымъ подобны, Безъ мѣры мыслей и страстей, Они безжалостны и злобны, Какъ дѣти въ рѣзвости своей.

Не дорожи же ихъ участьемъ, За ихъ хвалою не гонись, Не дорожи житейскимъ счастьемъ И ни предъ къмъ не преклонись.

Лишь безпорочный духъ поэта, Какъ высшій даръ, не погуби, И твой восторгъ, какъ искру свѣта Во мраки жизни, возлюби.

Въ минуту слабости душевной Не вѣрь, не вѣрь себѣ, поэтъ, Все ложно въ жизни повседневной, И лжи въ одномъ восторгѣ нѣтъ. 1853.

E. E.

Кто крѣпокъ и богатъ душою, Тотъ межъ людей царемъ глядитъ: Однихъ любовью онъ даритъ, Другихъ казнитъ своей враждою.

Но ты, несчастное созданье, Душою скуденъ ты и хилъ; Самъ у людей всю жизнь просилъ Ты крохъ любви, какъ подаянья, И, какъ огонь, тебъ всегда Была страшна людей вражда.

1878. Воробьевка.

E. E.

Онъ ходитъ тихо межъ людей,
Но преданъ странному занятью:
Все ищетъ онъ въ душѣ своей,
Кого бы, по лицу, по платью,
По складу мыслей и рѣчей,
Предать презрѣнью, иль проклятью;
Какъ будто вѣчно въ страхѣ онъ,
Что самъ за что-то осужденъ,
И тайной гордости движенье
Ему единое спасенье.

Воробьевскій паркъ.

Когда душа твоя чиста, И безмятежно сердце бьется, Ступай туда, гдѣ тѣнь густа, Гдѣ жаркій лучь сквозь вѣтви рвется.

Тамъ будетъ все тебя ласкать: Свѣтъ, воздухъ, чудный видъ съ дорожки. И золотыя будутъ мошки Вкругъ головы твоей мелькать.

Но если духомъ ты взволнованъ И шевелится страсть въ груди, Въ мой паркъ ты лучше не ходи: Онъ тайной силой зачарованъ.

Тебя лучь солнца обожжеть,
Пень самъ подъ ногу подвернется,
И видъ чудесный пропадеть,
Клещъ жадный въ грудь тебѣ вопьется,
И будутъ жалить мухъ полки
Твой лобъ и шею, и виски.

Эстетику.

Не міръ хорошъ, а хороша
Въ тебъ порой твоя душа,
И не гармонія природы
Звучить среди лѣсовъ и водъ,
А сердце, въ чистый мигъ свободы,
Само въ груди твоей поетъ.

Поэту.

Коль ужь поэтомъ стать рѣшился, То не виляй и не хитри: Что на душѣ, каковъ родился, Чѣмъ дышишь, то и говори.

E. E.

И осторожно, и небрежно
По тропкъ жизненной плетусь,
И всякой дряни я боюсь,
Но не того, что неизоъжно.

1884.

Ночь.

(П. А. Кускову).

Какъ щитъ Полна, Горитъ Луна; Пумитъ Волна, И полнъ Тоски Плескъ волнъ Ръки.

Сплелись, Слились И свѣть, И мгла, и нътъ Числа Звѣздамъ Небесъ. Спить лѣсъ, И тамъ **Дрожать** Листы, И спятъ Цвѣты. Кругомъ Давно Все сномъ Полно; Но сонъ Души Тоской Смущенъ Въ тиши Ночной. На грудь Налегъ Рой думъ; Мой путь Далекъ, Угрюмъ.

Жалоба.

Какъ смутный сонъ уходять дни за днями И каждый день дня прошлаго блёднёй; Не дышить умъ высокими мечтами, Нёмое сердце спитъ среди людей; Безсиліемъ, какъ тяжкими цёпями, Я удрученъ во цвётё лучшихъ дней, И я томлюся жизнью безотрадной, Какъ язвою мучительной и смрадной.

Зачёмъ же ты, жестокая судьба, Въ меня святую искру заронила? Зачёмъ тобой мнё суждена борьба И не дана властительная сила? Зачёмъ рука и грудь моя слаба, А ты огонь горящій въ нихъ вложила, Огонь живой негаснущихъ стремленій, Огонь стыда и горькихъ сожалёній?

1853.

Изъ "Идеаловъ" Шиллера.

Какъ нѣкогда съ мольбою и желаньемъ Пигмаліонъ свой камень обнималь, И чувства жаръ зажегся подъ лобзаньемъ И въ мраморныхъ ланитахъ запылалъ, — Такъ обвивалъ влюбленными руками Природу я въ восторгѣ молодомъ, Пока дохнула страстными устами И стала грѣть мнѣ грудь живымъ тепломъ.

И, жаркія желанья раздёляя, Нёмая вдругъ языкъ нашла, Мнй поцёлуй любовный возвращая, Сердечный крикъ мой поняла. Дышала роза, дерево шептало, И сладко пёлъ серебрянный ручей, И неживое чувствомъ трепетало, Откликнувшись на жизнь души моей.

Воспоминаніе.

Все помню: звукъ морскихъ зыбей, И крестъ надъ дружеской могилой, И какъ зажегся образъ милый Въ душъ померкнувшей моей:

Черты—блёднёе изваянья, Но жизнь во взорё молодомъ, И въ сердцё трепетно-больномъ Великодушныя желанья.

Благословенны вы стократь! Мой вечеръ гаснетъ безнадежно, Но вы взошли звъздою нъжной На мой блъднъющій закать. 1886.

Извиненіе.

Душа моя еще звучна, Всѣхъ струнъ ея я самъ не знаю, И часто жадно я внимаю, Какъ въ глубинѣ звучить она.

Невольно я отвётилъ пѣньемъ На задушевный звукъ рѣчей, Вниманье дѣвственныхъ очей Невольнымъ встрѣтилъ умиленьемъ.

1887.

Дума.

Покой и свѣтъ вокругъ меня; Всѣ узы міра я оставилъ, На чистый пламень бытія Я взоръ души своей направилъ.

Но часто тусклъ усталый взглядъ, Но язвы давняго растлѣнья На сердцѣ старомъ вновь горятъ, И меркнетъ радостное зрѣнье.

Богъ милосердъ! Онъ мнѣ пошлетъ Свое святое испытанье, Онъ зло мое во мнѣ сожжетъ Огнемъ предсмертнаго страданья. 1888.



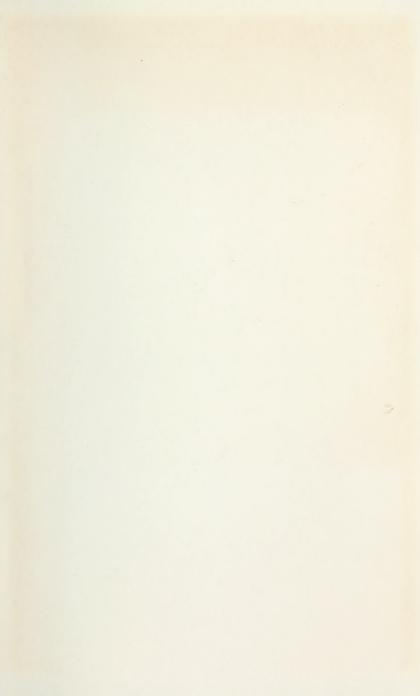
Betweenmete

Honor Transport Property Section of the Comment of

Builty on le

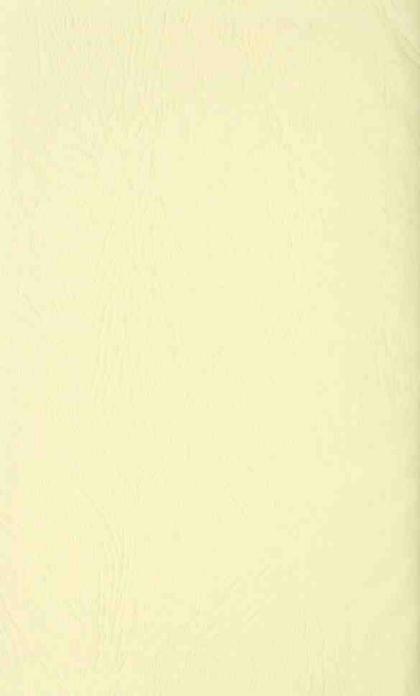
Arde was eine berent, Beken erbreis ein er eine um benen, Mannen mittern a bereitig Kata ein reginglaggeneren mit.

Henceum a problem a physics.
He extrusional sugar physic.
Resource givernounces and
Hermanica respirate products.
1887.









PG 2947 S7A3 1892a Strakhov, Nikolai Nikolaevich Vospominaniia i otryvki

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

